

Дыяні Боуфестері



Дыяні
Боуфестері

Вирен
Вознесение

ДУБОВЫЙ ЛИСТ ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ

Избранные стихотворения и поэмы



Москва

«Художественная литература»

1975

**P2
B64**

*Оформление художника
Вл. Медведева*



**Издательство
«Художественная литература»,
1975 г.**

В $\frac{70402-324}{028(01)-75}$ БЗ-22-33-75

Путь к этой книге

Пути поэзии неисповедимы.

Пусть предисловием к этой книге станет утренняя Москва 1957 года.

— Вы — студент Архитектурного, дорогой читатель. Вы вышли из дома в институт, В руках у вас полутораметровый подрамник с вычерченным планом к вашему диплому. В троллейбус с ним не влезешь, в такси тоже, да и не по карману еще оно; такси.

Придется топать до института. Пройдем этот путь вместе. Поговорим на ходу.

Вам надо пройти всю Большую Серпуховскую. Справа останется больничная ограда, тенистый Стремянный переулок, ваша школа

и дворовое футбольное детство останутся за правым плечом. Там, как и все дошкольники той Москвы, мы собирали не только марки и старые монеты, но и зазубренные осколки авиабомб и зенитных снарядов, которые сыпались на ваш двор ночами.

Я пишу стихи ногами. Я не боюсь двусмысленности этой фразы. Я вышагиваю стихи или, вернее, они меня. Во время ходьбы ритм улиц, сердечной смуты, толпы или леса ощущается почти что осязанием, предсознанием. От Стремянного до Лаврушинского написалась «Параболическая баллада».

Почему обрывающееся в небо ночное мукаческое шоссе продиктовало моим армейским сапогам «Плач по двум нерожденным поэмам», или эвакуационная вьюга провела детской памяти ритм «Гойи», а качка одесской палубы сообщила моим подошвам сбив строки в «Озе»?

Не знаю. Ноги знают.

Вот мы и миновали с вами метро «Добрынинская». Вы не поклонник этой станции. Вам, конечно, милее нержавеющей дуги «Маяковской» архитектора А. Душкина. Вы консультируете вне института свой дипломный проект у К. Мельникова — великого нашего экспериментатора. И еще не знаете, что через пять лет встретитесь с самим Корбюзье и Г. Муром и будете читать свои стихи Пикассо.

Я не жалею лет, отданных архитектуре.

Мужественная муза архитектуры полна ионического лиризма, она не терпит бесхре-

бетности, аморфного графоманства и болтовни, цели ее честны, пропорции ее человечны, она создает вещь одновременно для повседневного быта и для Вечности.

Я не представляю современного серьезного мышления и характера без знания основ математики или сопромата. Не случайно Хлебников залетел к нам из математики. А в ларце Флоренского анализ Слова соседствует с точными науками.

С детства меня одинаково приворожили к себе мамыны мусажетские томики стихов и стоящий рядом с ними синий отцовский технический справочник Хютте.

Профессией и делом жизни отца моего было проектирование гидростанций, внутренней страстью — любовь к русской истории и искусству.

Он ввел мое детство в мир Врубеля, Рериха, Юона, в мир старых мастеров, кнебелевские монографии которых собирал, он брал меня с собой на волжские стройки, стыдил за приблатненный жаргон. Он любил осенние сумерки Чехова, Чайковского, Левитана.

Стройный, смуглый, шутливый, по-мужски сдержанный — отец таил под современной энергичностью ту застенчивую интеллигентность, которая складывалась в тиши российской провинции и в нынешнем ритме жизни почти утрачена.

Свежая могила его на старом Ново-Девичьем кладбище — в двух шагах от надгробия Юона.

Но все это так еще далеко впереди — и с отцом, кажется, ничего никогда не случится, и вы так преступно небрежны к нему... Ваш шаг по-студенчески беспечен. Вас привлекает мир, полный необычайных подробностей. Он сулит перемены.

Вот вы входите в утреннюю, не пыльную еще, уютно-ампирную Полянку.

Ампирный особняк под зеленой пожухлой крышей, сам желтый с белым, похож на привядшую ромашку с опущенными белыми лепестками.

Научно-техническая революция едва намекает о себе ростками первых телевизоров на крышах. Телевизоры еще редкость в Москве. На них созывают гостей, как на диковину.

Ионические усики капустниц.

Вслед вам глянут помутнелые поливные изразцы храма Григория Неокесарийского. Но стоит свернуть в два проулка, как сердце ваше заколотится, заколотится на углу у серого полированного здания на Лаврушинском, и не вывеска «ВОАП» взволнует вас, нет, вы еще не имеете к ней отношения.

Здесь на восьмом этаже живет Борис Леонидович Пастернак. Еще школьником вы послали ему свои стихи. И с тех пор приходите к нему в обычные часы с 2-х до 4-х или вечером, когда собираются гости, — и делятся его колдовские монологи, — нет, не о рифмах только, упаси боже, не о рифмах же...

Он напишет вам из зимней Воткинской палаты: «Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания.

Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожился. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и Вашему торжеству... Так все это мне близко...»

Тогда же, в больнице, он подарит Вам свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радость которых не мешала мне чувствовать мои мучения...»

И вас охватит стыд за ваше здоровое сердце, руки, ноги, лыжи, за ваш возраст и ужас невозможности передать это другой, самой дорогой для вас жизни.

Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие уголья
к березам и дубам...

А вот стихи из когда-то посланной ему школьной тетради:

Над Академией,
осатанев,
грехопадением
надает снег.
Хлопья, молитвы,
свист пулевой,
прыганья в лифты
вниз головой!..

Я не включаю стихи той поры, как и многие другие, в этот однотомник. Объем книги, увы,— ограничен. Да и включенные совсем

не все видятся мне идеальными. Сейчас я написал бы по-иному. Но вещи не принадлежат автору. У них своя жизнь, судьба. Они такими родились. Не надо изменять их. Не надо приукрашивать историю. Себя тем более.

Я буду рад, если стихи придутся по сердцу читателю. Кому-то они не понравятся — но так и должно быть. «Я не хочу, чтобы меня любили все!» — крикнул в зал, председательствуя в ЦДЛ на вечере моей поэзии, В. Б. Шкловский. Это относится и к стихам.

Мне пришлось побродить по свету, по людям. Вернее, ездят мои стихи. Неизмеримо дало общение с У. Оденем, Ю. Любимовым, П. Капицей, К. Чуковским, В. Аксеновым, геологом С. Б. Поповой, вечнозелеными студентами, озером Свитязь, сан-францисскими кочевниками и родными мне владимирскими лесами и соборами. Благодарность близким вошла в строфы, им посвященные.

В каком-то смысле они соавторы стихов.

Генетически слово граничит с пластикой и музыкой. Встреча с Р. Щедриным синтезировалась в «Поэторию» — новый жанр, когда стихи читаются в сопровождении хора и симфонического оркестра.

Так консерваторские колокола аукнулись с Владимиром. Там в 1960 году вышел мой первый сборник «Мозаика». В том же году в Москве был издан второй — «Парабола».

Но мы заболтались. А между тем левое плечо ваше затекло от подрамника. Переложите на правое. Сквозь два слоя кальки, как сквозь толщу меда, просвечивает темная, за-

литая тушью розетка плана вашего выставочного зала. Этот лепестковый план — ваша гордость.

Суть зодчества метафорична. Это свойственно любому творчеству. В «Разговоре о Данте» сказано: «Объяснить метафору можно только метафорически. «Я сравниваю, значит, я живу», — мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры, ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение».

Любой серьезный архитектор начинает осмотр проекта с плана и конструктивного разреза. Фасад — для непосвященных, для зевак. План — конструктивный и эмоциональный узел вещи, правда, нерв ее. Во всем хочется дойти до самой сути.

Мне всегда хотелось во всем удостовериться самому, добраться до сердцевины истины не по пересказу и не только по изданиям, распознать, в чем прозревают, в чем заблуждаются, как понимают мир и Слово. Отсюда беседы с Маклюэном, Сартром, Хайдеггером, Адорно, или с вопрошающим разумом нашего Политехнического, или североморскими матросами, или с эпичными саами.

Когда началось ташкентское землетрясение, я первым рейсом прилетел туда — не в качестве спецкора, нет. Хотелось хоть как-то помочь. Сейчас это кажется наивным. Чем мог помочь я?

Но эти десять ташкентских суток открыли мне многое.

Люди жили на улицах в палатках. Вне стен. Все были равны перед опасностью. Толчки ожидались ночью. Не спали. Палатки горели, как желтые абажуры.

При всей тревоге и людских лишениях это были дни какой-то всеобщей искренности, распахнутости, бескорыстной душевной общности и самоотдачи — может быть, самые святые дни в моей жизни. Сейчас, в 1975 году, ташкентские архитекторы предложили мне спроектировать несколько монументальных стенок для города. Буду рад — если удастся.

Но мы опять забежали вперед. По тому, как справа ветром сносит ваш подрамник, вы догадываетесь, что идете уже по Б. Москворецкому мосту.

Зубчатая, как темная почтовая марка, стена приклеена к палевому небу.

Как всегда неожиданно, на распутье вырастает Блаженный.

Он родился белокирпичным, но век спустя расцвел, как гигантский репей, и до сих пор сводит мир с ума своим языческим, каким-то доразумным, скрытымнымским наговором.

Что это — хаос, нагромождение декора, дичь, диво формализма XVI века?

Интерьер храма невместителен, КПД ничтожно, красота его многим казалась бесполезной и пустословной. Но расчет зодчих гениален, демократичен и ясен, как озарение. Они вывели интерьер на площадь. Обряд: действие — как бы с крыльца — адресовались непосредственно небесам, толпам, России.

Освещенный сзади храмом, как костром, проповедник с пюпитера, держа в руках посох, подобно микрофону на стойке, обращался к тысячам, толпящимся на площади — как бы предвосхищая чтение стихов в Лужниках.

В 60-е годы группа поэтов — и я в том числе — попробовали расширить аудиторию стиха от гостиной до спортстадионов. В наше время для истинной поэзии любая аудитория тесна, любой тираж мал. Но, по моему давнему убеждению, развитие поэзии должно идти не столько вширь, сколько вглубь. Расширяя аудиторию, нужно сужать ее. Впрочем, если элита измеряется сотнями тысяч — да здравствует такая «элита»!

Российская муза всегда была общественной, исповедальна — ее не зря отождествляли с совестью. Еще про Чаадаева было сказано, что потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью. Она не чуралась колокольной ноты. Одна из черт ее сейчас — противостоять стандартности, серости, стереотипу мышления.

Уроки Блаженного бесконечны.

В пастернаковских письмах есть мысль о вечной попытке великих художников создать новую материю стиха, новую форму. Это желание никогда не удовлетворяемо. Но при этом выделяется высочайшая духовная энергия. Так было с Бетховеном, Микеланджело, Гоголем. Так было с Маяковским. Такова речь Василия Блаженного.

Выделяющаяся энергия текста — и есть содержание.

Мне досталось писать Блаженного с натуры на практике по классу живописи. Цвет затекал в цвет, было адски трудно уловить и разгадать его самовитое слово.

Наверное, от занятия живописью идут и плюсы и минусы моего склада. Мне легче дается зрительное. Дело не в метафоризме или «зрительной эре» — увы, видно, так глаз устроен...

Живопись адресуется к предощущениям. Ее искренность доразумна еще.

Заболоцкий выдохнул перед смертью: «Любите живопись, поэты!» Думаю, что поэтическим студиям не повредили бы классы живописи и рисунка. Поэты, «отращивайте глаз», занимайтесь живописью, если можете, конечно...

Но путь наш приближается к цели.

Над нами на Метрополе блекло испаряется врубелевская «Принцесса Греза». Ну, теперь в гору, бегом, по Кузнецкому!

Но почему навстречу вам из институтских ворот выезжает пожарная машина? Двор заполнен возбужденными сокурсниками. Они сообщат вам, что ночью пожар уничтожил вашу мастерскую и все дипломные проекты. Но я уже писал об этом в стихах.

Годы архитектуры кончились. Начались годы стихов. Они в этом однотомике.

Андрей Вознесенский

Москва, 1975

Вот тебе плюс



Сначала!

**Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!**

**«Двенадцать» часы ваши пробили,
по новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолетом!**

**Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.**

**Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!**

**Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишье
и начал сначала!**

**Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.**

**А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако**

**вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь, ее пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.**

1973

Бобровый плач

Я на болотной тропе вечерней
встретил бобра. Он заплакал вхлюп.
Ручкой стоп-крана
торчал плачевно
красной эмали передний зуб,

Вставши на ласты, наморщась жалко
(у них чешуйчатые хвосты),
хлещет усатейшая русалка.
Ну, пропусти! Ну, пропусти!

Будьте бобры, мои годы и доли,
не для печали, а для борьбы,
встречные

плакальщики

укора,

будьте бобры,

будьте бобры!

Непреступаемая для поступи,
непреступаемая стезя,
непреступаемая — о господи! —
непреступаемая слеза...

Я его крыл. Я дубасил палкой.
Я повернулся назад в сердцах.
Но за спиной моей новый плакат —
непроходимый другой в слезах.

1972

Вечер в «Обществе слепых»

Милые мои слепые,
слепые поводыри,
меня по своей России,
невидимой, повели.

Зеленая, голубая,
розовая на вид,
она, их остерегая,
плачет, скрипит, кричит.

Прозрейте, товарищ зрячий,
у озера в стоке вод.
Вы слышите — оно плачет?
А вы говорите — цветет.

Чернеют очки слепые,
отрезанный мир зовут —
как ветви живьем спилили,
следы окрасив в мазут.

Скажу я — цвет ореховый,
вы скажете — гул ореха.
Я говорю — зеркало,
вы говорите — эхо.

Вам кажется Паганини
красивейшим из красавцев,
Сильвана же Помпанини —
сиплая каракатица,
вам пудреница покажется
эмалевой панагией.

Пытаться читать стихи
в обществе слепых —
пытаться скрывать грехи
в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную,
на показуху рук,
они не прощают кожею
наглый и лживый звук.

И дело не в рифмах бедных —
они хорошо трещат —
но пахнут, чем вы обедали,
а надо петь натошак!

**И в вашем слепом обществе,
всевидащем, как Вишну,
вскричу, добредя-ощупью:
Вижу!**

**зеленое зеленое зеленое
заплакало заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо**

1974

Васильки Шагала

Лик ваш серебряный; как алебарда.
Жесты легки:
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки,

Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски
выдавленным
голубым!

Сирий цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
ружь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венок Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свернутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле прищпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

1973

Песня сингалурского шута

Оставьте меня одного,
оставьте,
люблю это чудо в асфальте,
да не до него!

Я так и не побыл собой,
я выполню через секунду
людскую мою синекуру.
Душа побывает босой.

Оставьте меня одного;
без нянек,
изгнанник я, сорванный с гаек,
но горше всего,

что так доживешь до седины
под пристальным сплетневым оком
то «вражьих», то «дружеских» блоков...
Как раньше сказали бы — с богом
оставьте один на один.

Свидетели дня моего,
вы были при спальне, при родах,
на похоронах хороводом.
Оставьте меня одного.

Оставьте в чащобе меня.
Они не про вас, эти слезы,
душа наревется одна
до дна! —
где кафельная береза,
положенная у пня,
омыта сияньем белесым.
Гляди ж — отыскалась родня!

Я выйду, ослепший как узник,
и выдам под хохот и вой:
«Душа — совмещенный санузел,
где прах и озноб душевой.

...Поэты и соловьи
поэтому и священны,
как органы очищенья,
а стало быть, и любви!

А в сердце такие пространства,
алмазная ипостась,
омылась душа, опросталась,
чего хваталась от вас».

Петрарка

Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад—
недочитанные, как книга,—
разметавшись, любовники спят.

1972

Зима

Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский амфир,
твоя дубленочка с опушкой.

1972

На озере

Прибегала в мой быт холостой,
задувала свечу, как служанка.
Было бешено хорошо
и задуматься было ужасно!

Я проснусь и промолвлю: «Да здррра-
вствует бодрая температура!»
И на высохших после дождя
громких джинсах — налет перламутра.

Спрыгну в сад и окно притворю,
чтобы бритва тебе не жужжала.

Шнур протянется
 в спальню твою.
Дело близилось к сентябрю.
И задуматься было ужасно,

что свобода пуста, как труба,
что любовь — это самодержавье.
Моя шумная жизнь без тебя
не имеет уже содержания.

Ощущение это прошло,
прошуршавши по саду ужами...
Несказаемо хорошо!
А задуматься — было ужасно,

1973

Муравей

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не умею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

1973

Песня вечерняя

Ты молилась ли на ночь, береза?
Вы молились ли на ночь,
запрокинутые озера
Сенеж, Свитязь и Нарочь?

Вы молились ли на ночь, соборы
Покрова и Успенья?
Покурю у забора.
Надо, чтобы успели.

У лугов изумлявших —
запах автомобилей...
Ты молилась, Земля наша?
Как тебя мы любили!

1972

Похороны Гоголя Николая Васильича

1. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться...

Н. В. Гоголь. «Завещание»

I

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя,—
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны витии,
поминают, когда мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

II

«Поднимите мне веки, соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматъи.
Поднимите мне веки!
Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!
Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается.

Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!
Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.
Грешный дух мой бронирован в плоть,
безучастную, как камня.
Помоги мне подняться, господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

III

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки господние
перед тем, как в могиле проснуться!»
Крик подземный глубин не потряс.
Двое выпили на могиле.
Любят похороны, дивясь,
детвора и чиновничий класс,
как вы любите слушать рассказ,
как Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

1973—1974

Сон

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюбились мы — в который раз,
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

1972

* * *

В. Шкловскому

— Мама, кто там вверху, голенастенький —
руки в стороны — и парит?
— Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974

Художник и модель

Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.

1973

Скука

Скука — это пост души,
когда жизненные соки
помышляют о высоком.
Искушеньем не греши.

Скука — это пост души,
это одинокий ужин,
скучны вражьи кутежи,
и товарищ вдвое скучен.

Врет искусство, мысль скудна.
Скучно рифмочек настырных.
И любимая скучна,
словно гладь по-монастырски,

Скука — кладбище души,
ни печали, ни восторга,
все трефовые тузы
распускаются в шестерки.

Скукотища, скукота...
Скука создавала Кука,
край любезнейший когда
опротивеет, как сука!

Пост великий на душе.
Скучно зрителей кишевших.
Все духовное уже
отдыхает, как кипечник.

Ах, какой ты был гурман!
Боль примешивал, как соус,
в очарованный роман,
аж посасывала совесть...

Хохмой вывернуть тоску?
Может, кто откусит ухо?
Ку-ку!
Скука.

Помесь скуки мировой
с нашей скукой полосатой.
Плюнешь в зеркало — плевок
не достигнет адресата.

Скучно через полпрыжка
потолок достать рукою.
Скучно, свиснув с потолка,
не достать паркет ногою.

1972

Новогоднее платье

Подарили, подарили
золотое, как пыльца.
Сдохли б Вены и Парижи
от такого платьяца!

Драгоценная потеря,
царственная нищета.
Будто тело запотело,
а на теле — ни черта.

Обольстительная сеть,
золотая ненасыть.
Было нечего надеть,
стало некуда носить.

Так поэт, затосковав,
ходит праздно на проспект.
Было слов не отыскать,
стало не для кого спеть.

Было нечего терять,
стало нечего найти.
Для кого играть в театр,
когда зритель не «на ты»?

Было зябко от надежд,
стало пусто напоследь.
Было нечего надеть,
стало незачем надеть.

Я б сожгла его, глупыш.
Не оцените кульбит.
Было страшно полюбить,
стало некого любить.

1972

* * *

Ты поставила лучшие годы,
я — талант.
Нас с тобой секунданты угодливо
развели. Ты — лихой дуэлянт.

Получив твою меткую ярость,
пошатнусь и скажу, как актер,
что я с бабами не стреляюсь,
из-за бабы — другой разговор.

Из-за той, что вбегала в июле,
что возлюбленной называл,
что сейчас соловьиною пулей
убиваешь во мне наповал!

1973

* * *

Теряю свою независимость,
поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений,
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость...
Куда б ни позвали — пожалуйста,
как набережные кокотки,

Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижера,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дождя.

И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными — книги,
а сами вы незнамениты,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными — души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.
Должны быть бессмертными рукописи,
а думать — кто купит? — бог упаси!

Хочу низложенья просторного
всех черт, что приписаны публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества
для демократичных забот —
жестяной лопатой дворничьей
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли обогреться с морозца
и исповеди испить.

1974

В непогоду

З. Б.

В дождь как из Ветхого завета
мы с удивительным детинной
плечом толкали из кювета
забуксовавшую машину.
В нем русское благообразие
шло к византийской ипостаси.
В лицо машина била грязью
за то, что он ее вытаскивал.
Из-под подфарника пунцового
брандспойтово хлестала жижа.
Ну и колеса пробуксовывали,
казалось, что не хватит жизни!

Всего не помню, был незряч я
от этой грязи молодецкой.
Хозяин дома близлежащего
нам чинно вынес полотенца.
Спаситель отмывался, терся,
отшучивался, балагурия,
И неумелая шоферша
была лиха и белокура.
Нас высадили у заставы
на перекрестке мокрых улиц.
Я влево уходил, он вправо,
дороги наши разминулись.

1972

Порнография духа.

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории,
в искусстве силен как стряпуха,
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему все не ясно,
Стравинский — безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших ее.
Когда мой собрат по панели,
стыжусь за него самое.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и перлах
свою порнографию духа.

Напишут чужою рукою
статейку за милого друга,
но подпись его под статью
висит порнографией духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим — это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,
венерам закутайте брюхо.
Но все-таки дух — это главное.
Долой порнографию духа!

1974

Художники обедают в парижском ресторане «Кус-кус»

I

Г. Габр. Маркесу

Мой собеседник — кроткий,
баскдй!
Он челюсть прикрыл бородкой,
как перчаточкою
боксер.

«Кус-кус» на меню не сетует —
повара не учить!
Мой фантастический собеседник
заказывает
дичь.

«Коровы летают? Летают.
Неси.
Короны летают? Но в аут.
Мерси».

А красный Георгий на блюде
летел на победных крылах,
где, как лебединые
клювы,
копыта на белых ногах!

И парочкой на излете,
летая во мраке ночном,
кричали Тристан и Изольда,
обнявшись, как сэндвич, с мечом.
Поэты — не куропатки.
Но если раздеть догола,
обломок ножа под лопаткой
сверкнет как обломок крыла.

А наши не крылья — зонтики
стекают в углу, как китч.
Смакует мой гость: «Экзотика!
Отличнейшая дичь!»

II

Голодуха, брат, голодуха!

Ухо

а-ля Ван-Гог
фаршированный вагон
вмятку
пятка,
откушенная у Рокфеллера (Н. Гвинья)
неочищенная фея
цветочная корзинка Сены
с ручкою моста
ирисы
полисмены в фенах,
сидящие как Озирисы
Дебре трехлетней выдержки
роман без выдержки и урезки
Р. Фиш (по-турецки)
шиш с маслом
хлеб с маслом
блеф с Марсом

«Мне нравится тот гарсон
в засахаренных джинсах с бисером»

Записываем:

«1 Фиат на 150 000 персон,
3 Фиата на 1 персону»

Иона
сласти власти

. • 150 000 крон

. • на 1000 персон

. •

. • для 3-х персон

. • 2 фр.

. •

. •

. •

. • 5000 экз.

. • 450 000

. • 2 фр.

. • 1 000 000 000 000

. • 2 миллиона лет

. • 30 монет

разблюдовка в стиле Людовика
в и н е г р е т
конфеты «Пламенный привет»
вокальный квинтет

Голодуха, брат, голодуха
особо в области духа! —
а вместо третьего
мост Александра III-го

•
• *нет*
• *нет*
• *нет*

• *188?*



Голодуха, брат, голодуха
от славы, тоски, сладостей,
чем больше пропустишь в брюхо,
тем в животе пустей!
Мы — как пустотелые бюсты,
с улыбочкою без дна,
глотаешь, а в сердце пусто —
бездна!

«Рубает» (испанск.), Андрюха!»
Ешь неизвестно что,
голодуха, брат, голодуха!
Есть только растущий счет.

А бледный гарсон за подносом
летел, не касаясь земли,
как будто схватясь за подножку,
когда поезда отошли...

Ах, кто это нам подмаргивает
из пиц?
Габр Маркес помалкивает —
отличнейшая дичь!

В углу драматург рубает
противозачаточные таблетки.
Завтра его обсуждают.
Как бы чего не вышло!..

На нем пиджачок, как мякиш, —
что смертному не достичь.
Отличная дичь — знай наших!
Послушаем, что за спич?

III

«На дубу написано «Валя».
Мы забыли, забыли с вами,
не забыли самих названий,
позабыли, зачем писали.

На художнике надпись «сука»,
у собаки кличка «Наука».
«Правдолюбец» на самодержце.
Ты куда, «Аллея Надежды»?
И зачем посредине забора
Изречение: «убей ухажора»?

И, уверовав в слов тождественность
в одиночайшем из столетий,
кто-то обнял доску, как женщину.
Но это надпись на туалете.

И зачем написано «Лошадь»
на мучительной образине,
в чьих смычковых ногах заложена
одна сотка автомашины?»

IV

«Кус-кус» пустеет во мраке,
уносят остатки дичи.
«Dixi».

Но самая вера злущая —
Чтоб в поисках революции
название «Революция»
являло бы революцию.

И, плюнув на зонт и дождик,
в нелетнейший из дождиц
уходят под дула художники —
отличнейшая дичь!

1973

* * *

Для души, северянки покорной,
и не надобно лучшей из пиц.
Брось ей в небо, как рыбам подкормку,
монастырскую горсточку птиц!

1975

АИСТЫ

В. Жаку

В гнезде, венчающем березу,
стояли аист с аистихою
над черным хутором бесхозным
бесмысленно и артистично.

Гнездо приколото над чашею,
как указанье Вифлеема.
Две шеи выгнуты сладчайше.
Вот так змея стоит над чашею,
став медицинскою эмблемой.

Но заколочено на годы
внизу хозяйское гнездовье.
Сруб сгнил. И аист без работы.
Ведь если награждать любовью,
то надо награждать — кого-то.

Я думаю, что Белоруссия
семей не возместила все еще.
Без них и птицы безоружные.
Вдруг и они без аистеныша?..

...Когда-нибудь, дождем накрытая,
здесь путница с пути собьется,
и от небесного события
под сердцем чудо в ней забьется.

Свое ощупывая тело,
как будто потеряла спички,
сияя, скажет: «Залетела.
Я принесу вам сына, птички».

1973

Говорит мама

Когда ты была во мне точкой
(отец твой тогда настаивал),
мы думали о тебе, дочка,—
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,
ясную твою память
и сегодняшние твои вопросы:
«оставить или не оставить?»

1973

Отчего...

Отчего в наклонившихся ивах —
ведь не только же от воды, —
как в волшебных диапозитивах,
света плавающие следы?

Отчего дожидаюсь, поверя —
ведь не только же до звезды, —
посвящаемый в эти деревья,
в это нищее чудо воды?

И за что надо мной, богохульником, —
ведь не только же от любви —
благовещеньем дышат, багульником
золотые наклоны твои?

1972

Повесть

Он вышел в сад. Смеркался час,
Усадьба в сумраке белела,
смущая душу, словно часть
незагорелая у тела.

А за самим особняком
пристройка помнилась неясно.
Он двери отворил пинком.
Нашарил ключ и засмеялся.

За дверью матовой светло.
Тогда здесь спальня находилась.
Она отставила шитье
и ничему не удивилась.

1972

* * *

На суде, в раю или в аду,
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,
хоть они совсем не близнецы».

Все равно, что скажут, все равно..
Не дослушивая ответ,
он двустворчатое окно
застегнет на черный шпингалет.

1972

Отцу

Отец, мы видимся все реже-реже,
в годок — разок.
А Каспий усыхает в побережье
и скоро станет —
как сухой морской конек,

Ты дал мне жизнь.
Теперь спасаешь Каспий,
как я бы заболел когда-нибудь.
Всплывают рыбы
с глазками как капсуль.
Единственно возможное
лекарство —

в них воды
Севера
вдохнуть!

И все мои конфликтные
смуты —
«конфликт на час»
перед этой, папа, тихой
минутой,
которой ты измучился сейчас.

Поможешь маме вытирать тарелки...

Сам думаешь: а) море на мели,
б) повернувшись, северные реки
изменяют вдруг вращение
Земли?
в) как бы древних льдов не растопили...

Тогда вопрос:
не «сколько
ангелов на
конце иголки?», но —
«сколько человечества уместится
на шпигеле

Эмпайр Билдинг
и Останкино?»

1973

Время на ремонте

Как архангельша времен
на стенных часах над рынком
баба вывела: «Ремонт»,
снявши стрелки для починки.

Верьте тете Моте —
Время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсбондили.
В твисте и перевозности
женщины — вне возраста.
Время на ремонте.

Снова клеши в моде.
Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках,
в самых смелых «мини» —
только в челочках.

Мама на «Раймонде»,
Время на ремонте.

Реставрационщик
потрошит Да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте.
Что-то там довинчивают.

*«Я полагаю, что пара вертолетов
значительно изменила бы ход Аустерлицкого сражения.
Полагаю также, что наступил момент произвести
девальвацию минуты.
Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда соответ-
ственно количество часов в сутках увеличится,
возрастет производительность труда,
а в оставшееся время мы сможем петь...»*

Время остановилось.
Время 00 — как надпись на дверях.
Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты подзатынулось?

*Которые все едят и едят,
вся жизнь которых — как затянувшийся обеденный
перерыв,
которые едят в счет 1980 года,
вам говорю я:*

«Вы временны».

*Канторские и конвейерные,
чья жизнь изнурительный производственный
ритм,*

*вам говорю я:
«Временно это».*

*Которая шьет-шьет, а нитка все не кончается,
которые замерли в 30 м от финиша со скоростью
270 км/никогда,*

вам говорю я:

увы, и вы временны...

*«До-до-до-до-до-до-до-до» — он уже продолбил клавишу,
так что клавиша стала похожа на домино «пусто-один»—
«до-до-до»...*

Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты
подзатынулось?

Помогите Время
сдвинуть с мертвой точки.
Гайки, Канты, лемехи,
все — вторичисточники.

Не на семи рубинах
циферблат Истории —
на живых, любимых,
ломкие которые,

Может, рядом, около
у подружки ветреной
что-то больно екнуло,
а на ней все вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг не разожмется?
Если человеческое —
значит, приживется.

И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтников
вышвырнет в ремонт!

1969

Разговор с эниграфом

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.

Маяковский

Владимир Владимирович, разрешите представиться!

Я занимаюсь биологией стиха.

Есть роли

более пьедестальные,
но кому-то надо за истопника..,

У нас, поэтов, дел по горло,
кто занят садом, кто содокладом.

Другие, как страусы,

прячут головы,
отсюда смотрят и мыслят задом,

Среди идиотств, суеты, наветов
поэт одиозен, порой смешон —
пока не требует поэта
к священной жертве

Стадион!

И когда мы выходим на стадионы в Томске
или на рижские Лужники,
вас понимающие потомки
тянутся к завтрашним

сквозь стихи.

Колоссальнейшая эпоха!
Ходят на поэзию, как в душ Шарко.
Даже герои поэмы

«Плохо!»

требуют сложить о них «Хорошо!».

Вы ушли,

понимаемы процентов на десять.

Оставались Асеев и Пастернак.

Но мы не уйдем —

как бы кто ни надеялся! —

мы будем драться за молодняк.

Как я тоскую о поэтическом сыне
класса «Ан» и 707-«Боинга»...

Мы научили

свистать

пол-России.

Дай одного

соловья-разбойника!..

**И когда этот случай счастливый представится,
отобью телеграммку, обкусав заусенцы!**

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

**РАЗРЕШИТЕ ПРЕСТАВИТЬСЯ =
ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

1978

* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом

назначении
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,

несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

1972

Очищение

Расчищу Твои снегопады,
дорожку пробью к гаражу.
По белоцерковному саду
машину свою вывожу.

Тебя соскребаю с асфальта,
весь полон минутою той,
когда Ты повалишься свято
меня засорять чистотой.

Такое покойное поле —
как если чернилами строк
я ночью бумагу заполню,
а утром он — белый, листок.

Но к черту веселой лопатой
счищаю Твою чистоту,
чтоб было Тебе не повадно
вторгаться в ту жизнь, что веду.

Не нужно чужого мне Бога,
я праздную темный мятеж.
Черна и просторна дорога,
свободная от небес!

Мой путь все вольней и дурнее.
Упрямо мое ремесло...
Приеду — остолбенею —
все снова Тобою бело.

1975

Лесник играет

Р. Щедрину

У лесника поселилась залетка.
Скрипка кричит, соревнуясь с фрамугою.
Как без воды
 рассыхается лодка,
старая скрипка
 рассохлась без музыки.

Скрипка висела с ружьями рядом.
Врезалась майка в плеча задубелые.
Правое больше
 привыкло к прикладам,
и поотвыкло от музыки
 левое.

Но он докажет этим мазурикам
перед приезжей с глазами фисташковыми —
левым плечом

 упирается в музыку,
будто машину
 из грязи вытаскивает!

Ах, покатила, ах, полетела...
Вслед тебе воют волки лесничества...

Майки изогнутая бретелька —
как отпечаток шейки
 скрипичной.

1973

Летающий мужик

В. Л. Бедуле

Встречая стадо в давешние леты,
мне объясняла бабушка примсты:
«Раз в стаде первой белая корова,
то завтра будет чудная погода».

II

Коровы, пяясь, как аэротрапы,
пасутся, сунув головы в луга.
И подымались
плачущие травы
по их прощальным шеям
в облака.

И если лидер — светлая корова,
то, значит, будет летная погода!

Коровьи отношения с небесами
еще не удавалось прояснить.
Они, пожалуй, не летают сами,
но понимают небо просинить.
Раз впереди красивая корова,
то утро будет синим, как Аврора.

III

На фермах блещут полиэтилены.
Навоз вниз эскалатором плывет,
как пассажиры
в метрополитене.
И это лучше, чем наоборот.

Как зубры ненавидят мотоциклы!
Копытные эпохи ледников
несутся за трещоткой малосильной.
Бедуля ненавидит дураков.

IV

Ему при Иоанне шапку сдуло,
но не поклон, не хулиганский шик —
Владимира Леонтьича Бедулю
я бы назвал «Летающий мужик».

Летит мужик — на собственной конструкции,
летит мужик — по Млечному Пути,
лети, мужик!

Держись за землю, труссы.
Пусть снимут стружку.

Легче ведь. Лети!

А если первой скучная корова,
то, значит, будет скучная погода,

V

Он стенгазеты упразднил, взамен
воздвиг радиостанцию пастушью,
чтоб плыли

сообщения
воздушные
в дистанции 12 деревень.

Над Беловежьем звезды колоколили.
И нету рифмы на ответный тост.
Но попросил он прочитать такое!..
А я-то думал, что Бедуля прост,

VI

Нет правды на земле.
Но правды нет и выше.

Бедуля ищет правду
под землей.

Глубоко пашет и, припавши, слышит,
как тяжко ей приходится, родной!

Его и славословили, и крыли,
Но поискам — не до шумих,
Бедуля дует
на подземных крыльях!
Я говорю: «Летающий мужик».

Все марты поменялись на июли.
Коровы, что ли, балуют, Бедуля?

VII

Коровы программируют погоды.
Их перпендикулярные соски
торчат,
на руль Колумбовый похожи.
Им тоже снятся Млечные Пути.

Когда взгрустнут мои аэродромы,
Пришли, Бедуля, белую корову!

1972

Похороны Кирсанова

Прощайте, Семен Исаакович.
Фьюить!
Уже ни стихом, ни сагою
оттуда не возвратить.

Почетные караулы
у входа в нездешний гул
ждут очереди понуро,
в глазах у них: «Караул!»

Пьерошка в одежде елочной,
в ненастиях уцелев,
серебрянейший, как перышко,
просиживал в ЦДЛ.

Один, как всегда, без дела,
на деле же — весь из мук,
почти что уже без тела
мучительнейший звук.

Нам виделось кватрочевто,
и как он, искусник, смел...
А было — кровоточенье
из горла, когда он пел!

Маэстро великолепный,
стриженный как школяр.

Невыплаканная флейта
в красный легла футляр.

1973

Украли!

Нападающего выкрали!
Тени плоские, как выкройки.
Мчится по ночной Москве
тело славное в мешке.

До свидания, соколики!
В мешковине, далека,
золотой своей наколочкой
удаляется Москва...

Перекрыты магистрали,
перехвачен лидер ралли.
И радирует радар:
«В поле зрения вратарь».

Двое штатских, ставши в струнку,
похвалялись наподдавшие:
«Ты кого?» — «Я — Главноконструктор»,
«Ерунда! Я — нападающего!»

«Продается центр защиты
и две штуки незасчитанные!»
«Я — как братья Эспозито.
Не играю за спасибо!»

«Народился в Магадане
феномен с тремя ногами,
ноги крепят к голове
по системе «дубль-ве».

«Прикуплю игру на кубок,
только честно, без покупок».

Умыкнули балерину.
А певица на мели —
утянули пелерину,
а саму не увели.

На суде судье судья
отвечает: «Свистнул я.
С центра поля, в честном споре
нападающего сперли».

Центр сперт, край сперт,—
спорт, спорт, спорт, спорт...

...«Отомкните бомбардира!
Не нужна ему квартира.
Убегу!»

Мои ноженъки украли,
знаменитые по краю,
я — в соку,
я все ноченьки без крали,
синим пламенем сгораю,
убегу!»

«Убегу!» Как Жанна д'Арк он, —
ни гугу!
Не притронулся к подаркам,
к коньяку.

«Убегу» — лицо как кукиш,
за паркет его не купишь.
«Когда крали, говорили —
«Волга». М-24...»

Тень сверкнула на углу.

Ночь такая — очи выколи.
Мою лучшую строку,
нападающую — выкрали...

Ни гугу.

1972

Обстановочка

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времен борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.

Стол. Кент.
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю Беломор Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
все, чего нет
(след. перечисление ед).
Тень бабушки — салфетка узорная,
вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рёниш».
Мамино,

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(*Бьет.*) Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
Предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.
Ой, как развалено...
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
+ 14 созданий
с площади Испании.
Уголок забытых вещей!
№ 2-й,
№ 3-й,
№ 8-й — никто не признается чей!
А вот женина брошка.
И платье брошено...
наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

*(В прихожей, черен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности Гость,
к несчастью, принимал за трость.)*

Вот ванная.
Что-то странное!
Свет под дверью. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.
Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается неузнаваем.)
О нет, только не это!..
Ломаем!
Она ведь вчера говорила —
«Если не придешь домой...»

Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..
Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины,
Сухие, нетронутые полотенца..

Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

1973

Диалог обывателя и поэта о НТР

«Моя бабушка — староверка,
но она —
научно-техническая революционерка.
Кормит гормонами кабана,

Научно-технические коровы
следят за Харламовым и Петровым,
и, прикрываясь ночным покровом,
сексуал-революционерка Сударкина,
в сердце,
как в трусики-безразмерки,
умещающая пол-Краснодара,
подрывает основы

семьи,
частной собственности
и государства.

Научно-технические обмены
отменны.

Посылаем Терпсихору —
получаем «Пепсиколу».

«И все-таки это есть Революция —
в умах, в быту и в народах целых.
К двенадцати стрелки часов крадутся —
но мы носим лазерные, без стрелок!

Я — попутчик
научно-технической революции.
При всем уважении к коромыслам
хочу, чтобы в самой дыре завалющей
был водопровод
и движенье мысли.

За это я стану на горло песне,
устану —
товарищи подержат за горло.
Но певчее горло
с дыхательным вместе —
живу,
не дыша от счастья и горя.

Скажу, вырываясь из тисков стишка,
тем горлом, которым дышу и пою:
«Да здравствует Научно-техническая,
перерастающая в Духовную!»

И если для чрезвычайных мер
Революция потребует

одного чел. поэта —

я — ЧП НТР,
и следующей и этой.»

1973

Пасата

Купаться в шторм запрещено.
Заплывшему — не возвратиться.
Волны накатное бревно
расплющит бедного артиста!

Но среди бешеных валов
есть тихая волна — пасата,
как среди грома каблуков
стопа неслышная босая.

Тебя от берега влечет
не удалая бесшабашность,
а ужасающий расчет —
в открытом море безопасней.

Артист, над мировой волной
 ты носишься от жизни к смерти,
 как ограниченный дугой
 латунный сгорбленный рейсфедер!

Но слышит зоркая спина
 среди безвыходного сальто,
 как зарождается волна
 с протяжным именем — пасата.

«Пасата,
 возвращающая
 волна,
 пасата,
 запретны мои заплывы,
 но хлынула тишина
 возврата,
 я обожаю воду —
 но что она без земли?
 Пустая!
 Я обожаю свободу —
 но что она без любви,
 пасата!
 Неси меня, пока носишь,
 оставишь на берегу —
 будь свята!
 Я встану
 и, пошатываясь,
 тебя поблагодарю,
 но ты растворишься в море,
 не поглядев,
 пасата...»

1972

* * *

Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой
печальной и темной полоской,
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море,
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка бежит.

Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами — к добру по приметам —
следы отольют серебром.

1972

Выпусти птицу!

Что с тобой, крашенная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь кунюру —

выпустишь птицу.

Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая

четвертная —

«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселева,
ставшую рыночной оберткой.

Птица тебя не поймет и не вспомнит,
люди сматерятся,
будет обед твой — булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,
пусть не себя — из неволи и сытости —
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала ее, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!

В руки синица — скучная сказка,
в небо синицу!
Дело отлова — доля мужская,
женская доля — выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолетное снизу,

в огненных знаках
над рынком струится,
выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?..
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца,
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице,

1972

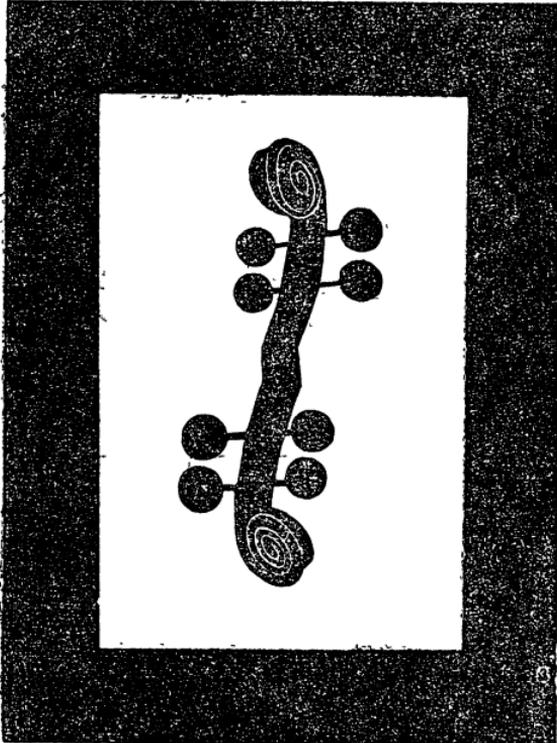
* * *

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

1973

Гана Трер

ОПЕРА-ДЕТЕКТИВ



Пролог и 1-е действие

**Шесть церквей повычищали под метелку.
Шесть овчарок повели по алтарям.
Сколько?**

Сколько?

Сколько?

Весь урон не сосчитать колоколам,

**Сколько, сколько, сколько
разворовано веков по простоте?
Скорбно вместо Сергия и Ольги
ставим свечи мы безликой пустоте.**

**«Всем, всем — колокольни-балаболки! —
Воры взяты и суду дают ответ».**

— Сколько?

Сколько?

Сколько?

— Шесть, семь, восемь лет.

Все иконы по местам вернулись, найдены,
кто в киот, кто в Красный угол, кто в ларец.
Лишь одна не вернулась —

Богоматерь

Утешительница Сердец.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВСЕСЮЗНЫЙ РОЗЫСК:

«Богоматерь. Утешительница Сердец.
Лик розов.

Из особых примет:

лишены слезников византийские
нарисованные глаза,
потому и в глазах разыскиваемой
не задерживается

слеза.

Льются слезы за ней по пятам».

Овчарки ведут по слезам.

Пролог-посвящение

Где ты шествуешь, Утешительница,
утешающая сердца?

На великих всемирных тишинах
кто торгует Тебя у слепца
среди плача и матерщины?

Под Москвою, Сургою, Уфою,
на шоссе, прижимая дитя,
голосующею рукою
осеяешь не взявших Тебя.
Утешенья им шлешь и покоя.

Утешение блудному сыну,
утешенье безвинной винс,
утешенье злобё ненасытной,
утешения нужно земле.

Сквозь пожар торфяной Подмосковья
шли
безумные толпы коровьи
без копыт, как по сковородке —
шли —
Ты от дыма в слезах и любви
их хлестала, чтоб добрали!

Все другие — Твои филиалы.
Не унижусь до пошлых диалогов
с домоуправом или статьей —
знаю только диалог с Тобой.
Ну их к дьяволу!

Волк мочой отмечает владенья.
А олень окропляет — слезой,
преклоня копыта в волненье
перед травами каждый сезон.

Ты прости, что не смею в поэме
вновь назвать Твоих главных имен.

**Край твой слезами обнесен.
Я стою пред Тобой на коленях.**

ХОР:

**Овчарки ведут по слезам.
Кто плачет за дверью? Сезам.**

Картина 1-я

**Ресторан качается, точно пароход,
а он свою любимую
замуж выдает.**

**Будем супермены.
Сядем визави.
Разве современно
жениться по любви?**

**Черная, белая, пьяная метель...
Ресторан закроется —
двинемся в мотель.**

**«Ты поправь, любимая,
трефовый парик,
Ты разлей рябиновку
ровно на троих,**

**Будет все как было.
Проще, может быть.
Будешь вечерами
в гости приходить,**

выходя, поглубже
капюшон надвинешь,
может, не разлюбишь,
но возненавидишь?..»

«Сани расписные», —
стонет шансонье.
Вот они отъедут —
расписанные...

И никто не скажет, вынимая нож!
«Что ж ты, скот, любимую
замуж выдаешь?»

Картина 2-я

Лоллобриджиде надоело быть снимаемой.
Лоллобриджида прилетела вас снимать.
Бьет Переделкино колоколами
На Благовещенье и Божью мать!

Она снимает автора, молоденькая
фотографиня. Автор припадет
к кольцу с дохристианской эротикой,
где женщина берет запретный плод.

Благослови, Лоллобриджида, мй порог
пустая слава, улучив предлог,
окинь мой кров, нацель аппаратуру!
Поэт полу-Букашкин, полу-Бог.

**Благослови, благослови, благослови.
Звезда погасла — и погасли вы.
Летунья — слава, в шубке баснословной,
как тяжки чемоданища твои!**

**«Зачем ты вразумил меня, Господь,
несбыточный ворочать гороскоп,
подставил душу страшным телескопам,
окольцевал мой палец безымянный
египетской пиявкой любви?
Я рождена для дома и семьи».**

**За кладбищем в честь гала-божества
бьют патриаршие колокола.
«Простоволосая Лоллобриджида,
я никогда счастливой не была».**

**Как чай откусать с блюда хорошо!
Как страшно изогнуться в колесо,
где означает женщина начало,
и ею же кончается кольцо.**

ХОР:

**Но поздно. Пора по домам.
Овчарки ведут по слезам.**

Картина 3-я

**Моя бабушка, Мария Андревна,
баба Маня,
проживаешь ты в век модерна
над Елоховскими куполами.**

Молодая Мария Андревна
была статная — впрямь царевна.
А когда судьба поджимала,
губки ниточкой поджимала.

Девяносто четыре года.
Ты прости мне, что есть плохого.
Бок твой сказывается к погоде.
И все хуже она, погода.

Но когда под пасхальным снегом
патриархи идут вокруг храма,
то возносят глаза не к небу —
а к твоей чудотворной раме,
где тайком через тюль подсматривает
силуэт в золотом тумане,
уже с той стороны бумаги —
Баба Маня...

Картина 4-я

«Покажите мне сына!
Не вводите вакцину,
дайте матери сына...»

Через стены роддома,
где не вхожи мужчины,
слышу шепот мадонн:
«Покажите мне сына!»
«Приземлился, мой родный.

Как купол погас,
мой живот парашютный...
Высота тошнотой отозвалась.
Покажите, прошу вас...

**Покажите мне сына!
«Ори!» — сиделка просила.
В склянке у изголовья
роза с белым бутонем,
как с младенцем мадонна
пеленалась с любовью.**

**Так пойдет до кончины —
покажите мне сына!
Мой пропащий багажик...
Расступитесь, осины,
и Голгофы и стражи —
он еще вам покажет!»**

**Кто пророка носила,
видит дальше пророка,
он ей сын беспокойный...
«Покажите мне сына!
Как опасна дорога...
Богу надо быть двойней».**

ХОР:

**Уборщица, моя вокзалы,
в ночном отразилась ведре —
как в нимбе себя увидала.
Но в том не призналась себе.**

Картина 5-я

**Реви, Ольга Корбут, по всем телевизорам!
Будь только собой.
Спортивных правителей терроризируют
косички запретною запятой.**

Пусть нищие духом сдадутся блаженно.
Великие духом ревут в три ручья.
Будь личность в прожекторном пораженье,
а если ты личность — победа твоя.

Тебе запретили смертельные брусья.
Почуяв, как в Лондоне худо одной,
бобры и медведи твоей Белоруссии
рыдают с тобой!

Увы, еретички-косички ледащие!
Ты наша запретная слава летящая!
Таких мы не знали среди чемпионов,—
лисичка лесная среди шампиньонов.

(Того перерезало финишной ленточкой,
как ниткой натянутой режется хлеб,
и верхняя часть его под аплодисменты,
как бюст, установлена в клуб или склеп.)

Лети, еретичка, вне схем Менделеева,
не для печати, не для литавр.
Не запрещайте — это смертельно! —
Не запрещайте Ольге летать.

В нас, в каждом есть бог — это стоило выстрадать.
Пусть в панике мир от попытки второй.
Так что же есть Истина?

Это есть искренность!
Быть только собой!

**На русском, арабском или санскрите
не врите, не врите, не врите!**

**Не делайте вида, не прячьтесь в стандарты,
завидуйте, плачьте, страдайте.**

**Себе, в стенгазете или кульбите
не врите — ревнуйте, любите,**

**но бога в себе не предайте из прити.
Не врите, не врите, не врите...**

**Да сгинет лукавое самозванство!
Она проиграла? Она бессмертна.**

ЗАНАВЕС

***Продолжительные свистки и аплодисменты,
переходящие в буфет. Антракт. Свет.***

ПУБЛИКА (*гуляя по фойе и холлам,
хором*):

- Уверен, что Она окажется героиней труда.
 - Вот мисс Трюдо — это да!
 - Про Даму пик я читала в одной книге...
 - «Час пик», задрыги!
- Про Даму пик книг нет.**

- Трефы — это похудевшие пики, вернее, их скелет.
- А ск. лет Лоллобриджиде?
- Не брешите!
- Значит, пики — это трефы в положении?
- Имейте уважение к идеалу высокому!
- Видали Гамлета в роли Высоцкого?
- Как королеве удалась Демидова!
- Товарищ из МИДа товарищу из ТАССа:
- Влияние Хиндемита на Торквато Тассо.
- Главное — не находить, а искать.
- Ишь, гад!
- Деньги за билеты назад выдаются не в буфете, а через кассу!
- Экстазу!
- За модерн!
- Вон автор. Ну и мордень!..

АВТОР:

Весьма тронут,
(спутнице) слышь, все говорят, я
 как Монтень.

(Делает знак масонов)

ХРОМОСОМОВ:

Есть 2 ампирные Христа.
 Отдам за 33 хруста.
 Плюс супница-наяда
 с сюжетами рая и ада за ту же цену..

АВТОР:

Мне надо на сцену.

ХРИСТОРАНОВ:

(жуя): А что у нас на второе?

РЕЖИССЕР:

Дама треш и дальняя дорога.

(Хромосомова уводят)

Молитва мастера

(НАДПИСЬ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ДОСКИ)

**Благослови, Господь, мои труды.
Я создал Вещь, шатаемый любовью,
не из души и плоти — из судьбы.**

**Я свет звезды, как соль, возьму в щепоть
и осеню себя стихом трехперстым.
Мои труды благослови, Господь!**

**Через плечо соль брошу на восход.
(Двуперстье же, как держат папирску,
боярыня Морозова взовьет!)**

**С побудкою архангельской трубы
не я, пусть Вещь восстанет из трухи.
Благослови, Господь, мои труды.**

**Твой суд приму — хоть голову руби,
разбей семью — да будет по сему.
Господь, благослови мои труды.**

**Уходит в люди дочь моя и плоть,
ее Тебе я отдаю как зятю,—
Искусства непорочное зачатье —**

Пусть позабудет, как меня зовут.

**Сын мой и господин ее любви,
ревную я к Тебе и ненавижу.
Мои труды, Господь, благослови.**

**Исправь людей. Чтоб не были грубы,
чтоб жемчугов ее не затоптали.
Обереги, Господь, мои труды.**

**А против Бога встанет на дыбы —
убей создателя, не погуби Созданье.
Благослови, Господь, Твои труды.**

II Действие

Действующие лица и исполнители

тов. ХРИСТОРАНОВ, и. о. домоуправа,
о. ВАРАВВА,
и. о. Предместкома,
гр. МИСС ИКОНА,
гр-не ХРОМОСОМОВ,
 ХОРКОБЗОНОВ,
 ХРОМОНОСОВ,
Св. Сестра
СВ «Красная Стрела»
гр. ХРИСТОРАНОВ и др.

Картина 1-я

Комната. Сцена открывается нам как бы с точки зрения Иконы, спрятанной под половицами. Мы видим как бы план комнаты, вид всех вещей снизу. Икона лежит навзничь, она ясновидящая, поэтому пол для нее прозрачен. Нам открывается мир, как сквозь стеклянные полы-потолки на заводе Форда.

Мы видим подошвы. Их много. Они — как листья кувшинок на воде. На всех подковки. Желательно, чтобы актрисы играли в брюках.

Все предметы обстановки тоже в плане, снизу.

Стол с квадратными ножками похож снизу на четверку бубен. Дно кровати — тоже как карта. К дну ее снизу, как джокер, в замерзшей позе прилип любовник или детектив. Это Христороганов. Он боится пошевелиться. Рядом лежит забытая хозяйками пыльная книга. Но читать он не решается. Он, как Атлант, держит на спине семейное благополучие.

Торшер снизу — как пол-абрикоса с косточкой.

В центре гостиной ковер. Парит, как ковер-самолет изнанкой к нам. Что происходит на ковре, мы не видим. Под ковер лицом к нам подсунута дама треш.

Сквозь рогожку изнанки ковра угрожающе проступает красное пятно. Что это — вино? Кровь? Мы не знаем.

О, мир снизу, красивый и таинственный, как елка с подвешенными игрушками!

Под полоской двери (а для нас — на полоске), как на светлой школьной линейке, лежит подсунутая повестка вызова в милицию.

РЕЖИССЕР *(с дамой треш в руках):*

Карта, лживая царевна
с человеческой красотой —
как до пояса сирена,
отраженная водой —
очаруй мою поэму
речью сладко-роковой:
«Гость. Разлука. Разговор».

Картина 2-я

Другая комната. Домоуправление. Интерьер в стиле НТР. Идет беседа с Христорановым.

Его подошвы — черные, резиновые, прямоугольные, подбитые белыми гвоздями, как фишки домино.

У всех героев теней нет, какая же тень на прозрачном полу?

Но от Христоранова падает четкая тень. Она похожа на закругленные маникюрные ножницы. Судя по тени, Христоранов кривоног, низкоросл, стоит — руки в боки.

Слева над столом волевые подметки домоуправа. Справа — о. Варавва. Он в белых тапочках.

ХРИСТОРАНОВ: Гражданин домоуправитель, зачем так круто?

Скажу как единомышленнику-атеисту,
по-вашему мы — «банда»
по-нашему — «бит-группа»
иконоборцев-активистов!

о. **ВАРАВВА:** о, нравы!..

ХИРОСИМОВ: в век космонавтики...

ДОМОУПРАВ: конкретней, о Богоматери...

ХРОМОСОМОВ: у Цар. Врат мы сверили
наши «сейки»,
мы работали в ритме
шейка.

Но тут ищейки —
как при сдаче ГТО.
Вы мне Утешительницу
не шейте!..

ДОМОУПРАВ: А кто?

ХОРКОБЗОНОВ: (*поет*): Переберем
участников
ансамбля,

«Ху из ху?»

Как на духу.

а) Храмомолов.

Разряд по самбо.

Не тот умок,

не мог.

б) Бр. Хмырясовы —

Валентин «Валюта» из Арх. ин-та,

Меньшой «Малюта».

Арон и Араб-Оглы —

не могли.

Мальки!

в) Эдик — «Эдипов комплекс».

Не мог. Честный хлопец.

о. ВАРАВВА: о, нравы...

ХРОНОЛОГОВ: г) Хорошобыв. 2-й разряд.

Собрал на заводе боевой
автомат.

Отбыл срок,

следовательно...

ДОМОУПРАВ: Намек?

ХУСАИНОВ: Следовательно, не мог.

Слишком ценный.

ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ: На работе я товарищ,

до шести

посотворяешь.

От шести я

гражданин

(уголовный кодекс,

пункт 1).

о. ВАРАВВА: Вы правы.

Аз

за КамАЗ.

ХИТРОШЕПОТОВ: Вкалывай, энтузиаст,
как сказал Екклезиаст.

о. ВАРАВВА: Bravo!

А в Катехизисе
есть об энергокризисе:
«Люди не сведущи, хоть и хитры»,
Раньше синтезировали икру
из нефти.
Пора получить бы нефть из икры.

ХРОМОСАПОЖКОВ (*продолжает*):

д) Филиппов Жерар.

Не мог. Хоть бы и желал.

Есть признак...

ДОМОУПРАВ (*зевая*): Кто ж? Может быть,
призрак?

(*появляется*, ПРИЗРАК.)

ПРИЗРАК: Вызывали?

(ТЕ ЖЕ и ОН).

ХРИЗАНТЕМОВ (*вздыхая*): ТэЖэ. Тройной одеколон.

ПРИЗРАК: Клад вмурован в 3-й неф,
где сегодня здание СЭВ.

Прикупайте к даме трэф!

О. ВАРАВВА: О, нравы... (*засыпает*)

(ПРИЗРАК *смущенно растворяется.*

Дверь растворяется,

и в скрипе

входят ХИППИ.)

ХОР ХИППИ: Мы — загадка для таможни.

Кило волос — и ничего еще.

На нас такие клеши, что их можно
закидывать, как плащ, через плечо!
Хоть мы провозим ежегодно
таблетки и гашиш-сырец,
и опиум (для народа),
мы непричастные к уводу
Утешительницы сердец!
(*входят* ВОДИТЕЛИ.)

ВОДИТЕЛИ: Мы — водители.

Мы видели!

Мы видели!

Голосует она у метро «Варшавская».

Села сзади — ну, думаю, красавица!

Гляжу в зеркальце — не отражается,
оборачиваюсь — сидит, не выражается.

Гляжу в зеркальце — не отражается,

говорю — «дверцу закройте, пожалуйста»,

гляжу в зеркальце — не отражается...

Тут у меня несправедливо отбирают права.

ДОМОУПРАВ:

Милиция всегда права.

ВОДИТЕЛИ: Ах, «права»? Ну тогда и ищите
сами.

Уйдем, Саня!

Уйдем, Сева!

Кому в район СЭВа?

ДОМОУПРАВ:

А?

ВОДИТЕЛИ: Говорит, не перестроился вправо я,
и зеркальце, говорит — неисправное.

Мы — водители,

мы — не видели...

Нам пора в ГАИ...

ХРИСТОРАНОВ: Эти не могли.

Мелки.

Таксисты!

(решается.) Срок скостите?

Добавлю, но не для

протокола.

Было у нас вроде прокола.

Особа жен. пола. Влипли —
во!

Иконостасья Филиппова.

По кличке «Мисс Икона» —
бедра узкие, плечи —

законные!

По-вашему «главарша»,
по-нашему

«администратор» —

холодная и гибкая, как

хлыст для стада.

Глаза без слезы. Золотая

мгла.

(восхищенно):

Эта — могла.

о. ВАРАВВА *(спросонок):* Облава!

Песня за сценой

Как у лодки восьмивесельной —
волевая рулевая.

У нее, двадцативесенной,
дисциплинка нулевая!

Как у гоночной регаты —
три зачетные воды,

**так у жизни нелегальной
три лукавые беды.**

**Это первая вода —
все осталось без следа.**

**А вторая вода —
непроглядна темнота.**

**Ну, а третья вода —
она красная всегда.**

Картина 3-я

(ТЕ ЖЕ И НЕ ТЕ ЖЕ)

ХОРОМ:

**Круговой порукою общая подруга —
девочка по кругу, девочка по кругу!**

**«Ну и жмурки! Это Эдик или Витя?
Ты, Валюта — Валентиночек в миру?!
Вы сестру свою покрепче обнимите,
я ко всем сейчас от нежности умру!**

**Не при свечках, а при плачущих лучинах
из смолящихся нащепленных икон...**

**Я вас всех собою обручила,
всех сплела возлюбленным венком!**

**От рождения глаза мои сухие,
ни опасность, ни разгул не помогли.
Помогите, помогите, дорогие,
разрыдаться мне от боли и любви!**

Валентиночек, ты что, уже кемарить?
Все как плачу, да не выплачусь до дна...»
«Мне все видится, Настасья, Богоматерь —
доску взял — а из глазниц Ея — вода...»

«Ставь к стене ее, паскуду ненавистную.
Я соперницу навьлет прострелю!»
Выстрел.

Что за женщина убита на полу?

Что за бабу в морге эксперты обследуют?
Кто убийцей припечатался к зрачкам?

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Овчарки ведут по слезам.

P. S.

Обижаться, читатель, не следует
на оборванный мой зачин.

Ведь и жизнь — «продолжение следует» —
только нам не узнать — зачем?

III действие

Явление I

**Я ограбил братьев и Лавру.
Я преступно владею Тобой.
На такси, как красивую лярву,
Я отвез Тебя в дом под Москвой.**

**Опущу занавесок тенега,
не включаю огня влопыхах.
Как стремительно лик Твой темнеет
в моих наглых руках!**

**Знаю — краски темнеют от времени.
И процесс их необратим.
Ты от нас удаляешься в темень.
Скоро мы Тебя не разглядим.**

**Понимаю я, тем не менее,
ни при чем живописца письмо —
если лик Твой темнеет от времени,
то преступно время само.**

**На музейных стенах и семейных
окисляешься взглядом толпы...
Может, это не лик Твой темнеет,
а становятся люди слепы?**

**До того как я стал аферистом,
был мой взор и дух просветлен.
И рублевские Три Арфиста —
как три арфы! — струились в нем...**

**Честолюбец, в слепом паскудстве,
с вечных плеч срываю парчу.
Я за каждую эту секунду
10 лет получу.**

**За коляской следя милицейскою,
я стою на крыльце.
И семь слез — как Большая Медведица
на Твоем непроглядном лице.**

Явление 2

ХОР НИМФ:

Я 41-я на Плисецкую,
26-я на пледы чешские,
30-я на Таганку,
35-я на Ваганьково,
кто на Мадонну — запись на Морвокзале,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
Кто был девятой, станет десятой,
Борисова станет Мусатовой,
я 16-я к главному,
75-я на Глазунова,
110-я на аборт
(придет очередь — подработаю),
26-я на фестивали,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
47-я на автодетали,
(меня родили — и записали),
я уже 1000-я на автомобили
(меня записали — потом родили),
что дают? кому давать?
а еще мать!
Я 45-я за «35-ми»,
а Вы с ребенком, чего тут пялитесь?
Кто на Мадонну — отметка в 10-ть.
А Вы с ребенком — и не надейтесь!
Не вы, а я — 1-я на среду,
а Вы — первая куда следует...

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

**Режиссерские ремарки
о жанре поэмы**

**Кто-то ноздри раздует в полемике:
«Пахнет жареным!»
Детектив обернулся поэмой?
Пахнет жанром.**

**Пусть я выверну жизнь наизнанку,
но идея поэмы проста.
— Что ты ищешь, художник? — Не знаю.
Назовем ее — Красота.**

**Это света взметенное знамя,
это светлая мука с креста.
— Как зовут Тебя, Муза? — Не знаю.
Назовем ее — Красота.**

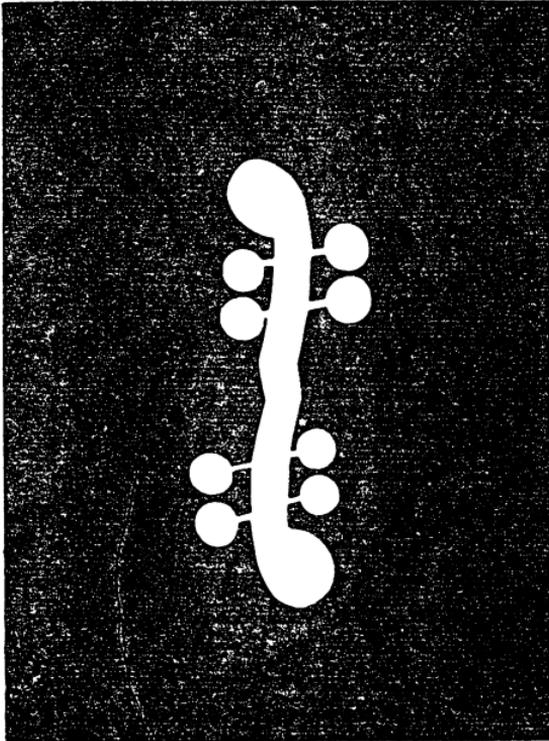
**Отстоявши полночные смены,
не попавши в священный реестр,
вы, читательница поэмы,
может, вы героиня и есть?**

**Просветлев от забот ежегодных,
отстояла очередь.
И в Москву прилетела Джоконда,
чтоб секунду взглянуть на Тебя.**

**Но едва за тобою проследую,
растворяешься в улицах ты..
Жизнь моя — продолжение следует.
И на встречных — след Красоты.**

1974

Скрытвенная



Исповедь

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылезил из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спую, не вина:
«Пусть я удобренье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не падо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

1971

Соловей-зимовщик

Свищет всею ночью сонатой
между кухонь, бензина, щей
сантехнический озонатор,
переделкинский соловей!

Ах, пичуга микроскопический,
бьет, бичует, все гнет свое,
не лирически —
гигиенически,
чтоб вы выжили, дурачье.

Отключи зажиганье, собственник.
Стекля пыльные опусти.
Побледней от внезапной совести,
кислорода и красоты.

Что поет он? Как лошадь пасется,
и к земле из тела ея
августейшая шея льется —
тайной жизни земной струя.

Ну, а шея другой — лимонна,
мордой воткнутая в луга,
как плачевного граммофона
изгибающаяся труба.

Ты на зиму в края лазоревы
улетишь, да не тот овес.
Этим лугом сердце разорвано,
лишь на родине ты поешь.

Показав в радиольной лапке
музыкальные коготки,
на тебя от восторга слабнут
переделкинские коты.

Кто же тронул тебя берданкой?
Тебе Африки не видать.
Замотаешься в шарфик пернатый,
попытаешь перезимовать.

Ах, зимою застынут фарфором
шесть кистей рябины в снегу,
точно чашечки перевернутые,
темно-огненные внизу...

Как же выжил ты, мой зимовщик,
песни мерзнувший крепостной?
Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик,
голос, тронутый хрипотцой!

Бездыханные перерывы
между приступами любви.
Невозможные переливы,
убиенные соловьи.

1971

Песня акына

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, господь, второго —
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не денег, не орденов —
пошли мне, господь, второго,
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, пу, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиначеством окружен.
Пошли ему, бог, второго —
такого, как я и он.

1971

Скрымтымным

«Скрымтымным» — это пляшут омичи?
скрип темниц? или крик о помощи?
или у Судьбы есть псевдоним,
темная ухмылочка — скрымтымным?

Скрымтымным — то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-ыы...» — с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрымтымным.

Скрымтымным — языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
по часто не учитываем скрымтымным.

«Как вы поживаете?» — «Скрытымным...»
«Скрытымным!» — «Слушаюсь. Выполним».

Скрытымным — это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводим.
Вьюга безликая пела в Елабуге.
Что ей померещилось? — скрытымным...

А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрытымным!»
Но не забывайте — рухнул Рим,
не поняв приветствия: «Скрытымным».

1971

Фналки

А. Райкину

Боги имеют хобби,
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби.
Вертинские вяжут (обе).
У Джоконы улыбка портнишки,
чтоб булавки во рту сжимать.
Любитель гвоздик и флоксов
в Майданеке сжег полглобуса.

Нищий любит сберкнижки
коллекционировать!
Мир — как песчинка в Гоби!
Как ни крути умишком,
мы видим лишь божьи хобби,
нам Главного не познать.

Боги имеют слабости.
Славный хочет бесславности.
Бесславный хлопочет: «Ой бы,
мне бы такое хобби!»

Боги желают кесарева,
кесарю пужно богово.
Бунтарь в министерском кресле,
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.

Боги имеют баки —
висят на башке пускай,
как ручка под верхним баком,
воду чтобы спускать.
Не дергайте их, однако.

Но что-то ведь есть в основе?
Зачем в золотом ознобе
ниспосланное с высот
аистовое хобби
женскую душу жмет?

У бога ответов много,
по главный: «Идите к богу!»...

...Боги имеют хобби —
уставши миры вращать,
с лейкой, в садовой робе
фиалки выращивать!

А фиалки имеют хобби
выращивать в людях грусть.
Мужчины стыдятся скорби,
поэтому отшучусь.

«Зачем вас распяли, дядя?!» —
«Чтоб в прятки водить, дитя.
Люблю сквозь ладонь
 подглядывать
в дырочку от гвоздя».

1972

Собакалицие

*Моим милым четвероногим слушателям
Университета Саймон Фрейзер*

Верю
всякому зверю,
тем паче
обожаю концерт собачий!

Я читаю полулегально
вам, борзая, и вам, легавая!

Билетерами не опознан,
на концерт мой пришел опоссум.
И, приталенная как у коршуна,
на балконе присела кожанка.

Мне запомнилась — гибкой масти,
изнывая, чтоб свет погас,
до отказа зевнула пастью,
точно делают в цирке шпагат.

С негой блоковской Незнакомки,
прогибающаяся спиной,
она лапы, как ножки шезлонга,
положила перед собой.

Зал мохнат от марихуаны,
в тыщу глаз, шалый кобель.
В «Откровении Иоанна»
упомянут подобный зверь.

Грозный зверь по имени Фатум,
и по телу всему — зрачки.
Этот зверь —
лафа фабриканту,
выпускающему очки!

Суди лохматое поколение!
Если не явится бог судить —
тех, кто вешает нас в бакалейне,
тех, кто иудить пришел и удить.

И стоял я, убийца слова,
и скрипел пиджачишко мой,
кожа, содранная с коровы,
фаршированная душой.

Где-то сестры ее мычали
в электрооильниках-бигуди.
Елизаветинские медали
у псов поблескивали на груди.

Вам, уставшие от мицуки *,
я выкрикиваю привет
от московской безухой суки,
у которой медалей нет.

Но зато эта сука — певчая.
И уж ежели дает концерт,
все Карузо отдали б печени
за господень ее фальцет!

Понимали без перевода
Лапа Драная и Перо,
потому что стихов природа —
не грамматика, а нутро.

Понимали без перевода
и не англо-русский словарь,
а небесное, полевое
и где в музыке не соврал...

Я хочу, чтоб меня поняли.
Ну, а тем, кто к стихам глухи,
разъяснит двухметровый колли,
обнаруживая клыки.

1970

* Сорт духов.

Водная лыжница

В трос вросла, не сняв очки бутылки —
уводи!
Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.

Проскользила — боже! — состругала,
наклонившись, как в рубанке оселок.
Не любительница — профессионалка,
золотая чемпионка ног!

Я горжусь твоей слепой свободой,
обмирающею до кишок —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.

Как истосковалась по пиратству
женщина в сегодняшнем быту!
Главное — ногами упираться,
чтоб не вылетела на ходу.

«Укради, как раньше на запятках,—
Миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.

Укради за воды и за горы,
только бы надежен был мужик!
В золотом забвении увода
о немеют десны и язык.

«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя?»
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..

...Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,
с самолетным разве что сравнимый
па душе, что воздуху сродни.

След потери нематериальный,
свет печальный — бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.

Молитва

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

1970

Женщина в августе

Присела к зеркалу опять,
в себе, как в роце законной,
все не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.

В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему
листва зеленая видна,
а в хмурый — медная заметнее,

1971

Две песни

I. Он

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волоса твои распущенные
шептал первые слова.

Та же дача полутемная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо мое смятенное
шепчет первые слова.

А потом лицом в колени
белокурые свои
наматает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца черные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
усмехается как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущенные черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встает
горестная артиллерия —
ангел черный, ангел белая —
перелет и недолет!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далекого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
простунают стоны маминны
рядом с нежностью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
черная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

II. Она

Волосы до полу, черная масть —
мать.

Дождь белокурый, застенчивый вдрожь —
дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь,
дочь».

«В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать».

«Я — его первая женщина, верпулся до ласки охоч,
дочь».

«Он — мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
мать».

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь, прочь!..»

• • • • •
«Это о смерти его телеграмма,
мама!..»

1971

Хозяйки

В этом доме ремонт завели.
На вошедшего глянут с дивана
две войны, две сестры по любви,
два его сумасшедших романа.

Та в смятенье подастся к тебе.
А другая глядит не мигая —
запрокинутая на стене
ее малая тень золотая.

У нее молодые — как смоль.
У нее до колен — золотые.
Вся до пяток — презренье и боль.
Вся любовь от ступней до затылка.

Что-то будет? Гадай не гадай...
И опять ты влюблен и повинен.
Перед ними стоит негодяй.
Мы его в этой позе покинем.

Потому что ремонт завели,
перекладываются паркетны.
И сейчас заметут маляры
два квадратных следа от портрета.

1971

Автомат

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется, как флажок...

Что, мой глухонемой?
Отбой...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

Правила поведения за столом

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
по музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
по даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

Кабанья охота

I

Он прет
на тебя, великолепен.
Собак
по пути позарезав.
Луци!
Ну, а ежели не влепишь —
нелепо перезаряжать!
Он черен.
И он тебя заметил.
Он жмет
по прямой, как глиссера.

Уже

 между вами десять метров.
Но кровь твоя четко-весела.

II

Очнусь — стол как операционный.
Кабанья застольная компанийка
на 8 персон.
И порционный,
одетый в хрен и черемшу,
как паинька,
на блюде ледяной, саксонской,
с морковочкой, как будто с соской,
смиренный, голенький лежу.

Кабарышни порхают меж подсвечников.
Копытца их нежны, как подснежники.
Кабабушка тянется к ножу.
В углу продавил четыре стула
центр тяжести литературы.
Лежу.

Внизу, элегически рыдая,
полны электрической тоски,
коты с окровавленными ртами,
вжимаясь в скамьи и сапоги,
визжат, как точильные круги!

(А коротышка кот с башкою стрекозы,
порхая капронными усами,
висел над столом и, гнусавя,
просил кровяной колбасы.)

Озяб фаршированный животик.
Гарнир умирающий поет.
И чаши торжественные сводят
над нами хозяева болот.
Собратья печальной литургии,
салат, чернобыльник и другие,
ваш хор
меня возвращает вновь к Природе,
оч. хор.
и зерна, как кнопки на фяготе,
горят сквозь моченый помидор.

III

Кругом умирали культуры —
садовая, парниковая, византийская,
кукурузные кудряшки Катулла,
крашеные яйца редиски
(вкрутую),
селедка, нарезанная как клавиатура
перламутрового клавесина,
попискивала.
Но не сильно.

А в голубых листах капусты,
как с рокотовских зеркал,
в жемчужных париках и бюстах
век восемнадцатый витал.

Скрипели красотой атласной
кочанные ее плеча,
мечтали умереть от ласки
в пугачевского меча.

Прощальнойю позолотой
петергофская нимфа лежала,
как шпрота,
на черством ломтике пьедестала.

Вкусно порубать Расина!
И, как гастрономическая вершина,
дрожал на столе
аромат Фета, застывший в кувшинках,
как в гофрированных формочках для желе.
И умирало колдовство
в настойке градусов под сто.

IV

Пируйте, восьмерка виночерпиев.
Стол, грубо сколоченный, как плот.
Без кворума Тайная Вечеря.
И кровь предвкушенная и плоть.

Клыки их вверх дужками закручены.
И рыла тупые над столом —
как будто в мерцающих уключинах
плывет восьмивесельный паром.

Так вот ты, паромщик Харона,
и Стикса пустынные воды.
Хреново!
Хозяева, алаверды!

Я пью за страшную свободу
отплыть, усмехнувшись, в никогда.
Мишени несбывшейся охоты,
рванем за усопшего стрелка!

Чудовище по имени Надежда,
я гнал за тобой, как следопыт.
Все пули уходили, не задевши.
Отходную! Следует допить.

За неуловимое Искусство.
Но пью за отметины дробин.
Закусывай!
Не мсти, что по звуку не добил.

А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.
Ты обозналась. Ты вина чужая!
Молчит она. Она не ест, не пьет.
Лишь на губах поблескивает лед.

А это кто? Ты?! Ты ж меня любила.
Я пью, чтоб в тебе хватило силы
взять ножик в чудовищных гостях.
Простят убийство —
промах не простят.

Пью кубок свой преступный, как агрессор
и вор,
который, провоцируя окрестности,
производил естественный отбор!

Зверюги прощенье ощутили,
разлукою и хвоей задышав.
И слезы скакали по щетине,
и пили на брудершафт.

VI

Очнулся я, видимо, в бессмертье.
Мы с ношей тащились по бугру.
Привязанный ногами к длинной жерди,
отдав кишки жестяному ведру,
качался мой хозяин на пиру.

И по дороге, где мы проходили,
кровь свертывалась в шарики из пыли.

1970

* * *

В. Ахмадулиной

Мы нарушили Божий завет.
Яблок съели.
У поэта напарника нет,
все дуэты кончались дуэлью.

Мы нарушили кодекс людской —
быть взаимной мишенью.
Наш союз осужден мелюзгой
хуже кровосмешенья.

Нарушительница родилась —
белый голос в полночное время.
Даже если Земля наша — грязь,
рождество твоё — ей искупленье.

Был мой стих, как фундамент, тяжёл,
чтобы ты невесомела в звуке.
Я красивейшую из жен
подарил тебе утром в подруги.

Я бросал тебе в ноги Париж,
августейший оборвыш, соловка!
Мне казалось, что жизнь — это лишь
певчей силы заложник.

И победа была весела.
И достигнет нас кара едва ли.
А расплата произошла —
мы с тобою себя потеряли.

Ошибаясь в этой жизни дотла,
улыбнись: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

1972

Старофранцузская Баллада

Мы стали друзьями. Я не ревную.
Живешь ты в мансарде.
К тебе приведу я скриначку ночную.

Ты нам на диване постелешь. «До завтра,—
нам бросишь небрежно.— Располагайтесь!»
И что-то расскажешь. И куришь азартно.

И что-то расскажешь. А глаз твой агатист.
А гостя почувствовала, примолкла.
И долго еще твоя дверь не погаснет.

Так вот ты какая — на дружбу помолвка!
Из этой мансарды есть выход лишь в небо.
Зияет окном потолковым каморка.

«Прощай,— говорю,— мое небо, и не понимаю, как с гостьей тебя я мешаю.
Дай Бог тебе выжить, сестренка меньшая!»

А утром мы трапезничаем немо.
И кожа спокойна твоя и пастозна...
Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!»
Да здравствует дружба! Да скроется небо.

1973

Горный монастырь

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.

Такая мятная
вода с утра —
вкус богоматери
и серебра!

Плюс вкус свободы
без лишних глаз.
Не слово бога —
природы глас.

Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —
подснежников щепоть!

1970

* * *

Да здравствуют прогулки в полвторого,
проселочная лунная дорога,
седые и сухие от мороза
розы черные коровьего навоза!

1970

* * *

На спинку божия коровка
легла с коричневым брюшком,
как чашка красная в горошек
налита стынувшим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая,
душа ее бежит отчаянно.

1970

Ода дубу

Свитезианские восходы.
Поблескивает изречение:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значенья».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись лиственно и пламенно,—
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирное значенье!»

Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!

Априори:

Екатерининские березы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и.о.лосося,
оса, желтая как улочка Росси,
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!

Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,
исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дороге
великую.

Как Рембрандты, живут по описи
35 волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.
Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы — двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый,
между природой и культурой,
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
неизъяснимого значенья!

И, перебита крысоловкой,
прихлопнутая к пьедесталу,
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.

1971

Кромка

Над пашней сумерки перезки,
и солнце, уходя за лес,
как бы серебряною рельсой
зажжет у пахоты обрез.

Всего минуту, как, ужаля,
продлится тайная краса.
Но каждый вечер приезжаю
глядеть, как гаснет полоса.

Моя любовь передвечерняя,
прощальная моя любовь,
полоска света золотая
под затворенными дверьми.

1970

* * *

Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна,
Я тебя не осуждаю.

У тебя и сын и сад.
Ты, обняв меня за шею,
поглядишь на циферблат —
даже крикнуть не посмею.

Поезжай ради Христа,
где вы снятые в обнимку.
Двоюродная сестра,
застели ему простынку!

Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.

1971

Жестокий романс

«Дверь отворите гостье с дороги!»
Выйду, открою — стоят на пороге,
словно картина в раме, фрамуге,
белые брюки, белые брюки!

Видно, шла с моря возле прилива —
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору — дышат в обтяжку
смелые брюки, польская пряжка.

Эта спортсменка не знала отбоя,
но приходили вы сами собою,
где я терраску снимал у старухи —
темные почи, белые брюки.

Белые брюки, ночные воруги,
молния слева или на брюхе?
Русая молния шаровая,
обворовала, обворовала!

Ах, парусинка моя рулевая...

Первые слезы. Желтые дали.
Бедные клеши, вы отгуляли...
Что с вами сделают в черной разлуке
белые вьюги, белые вьюги?

1971

Скупщик краденого

I

Приценись ко мне в упор,
бюрократина.
Ты опаснее, чем вор,
скупщик краденого!

Лоб крапленный полон мыслями,
белый как Наполеон,
челка с круглыми залысинами
липнет трефовым тузом...

Символы предметов реют
в твоей комнате паучьей,
как вещевая лотерея:
вещи есть — но шиш получишь!

II

Кражи, шмотки и сапфиры
зашифрованы в цифири:

«№ 4704 мотоцикл марки Ява»,
«Волга» (угнанная явно).

Неразборчивая

цифра списанная машина шифера,
пешка Бобби Фишера,
ключ от сейфа с шифром,
где деньги лежат.

200 000 гора Арарат,
на остальные пятнадцать
номеров подряд
выпадает по кофейной
чашечке с вензелем
отель «Украина»,
печать райфина
или паникадило (по желанию),
четырёхкомнатная «малина»
на площади Восстания,
или старый «Москвич»
(по желанию).

236-49-45 ... неспожилая,
но крашенная под серебро прядь
поможет Вам украсть
тридцать минут счастья +
кофе в номер,
(или пятнадцать рублей денег).
Демпинг!
(тем же награждаются все
последующие
четные номера).

№ 14709.... Памятник. Кварц в позолоте.
С надписью «Наследник —
тете».

Инв. № 147015 Библиотечный штамп
лиловый.

Золотые буквы сбоку:
«Избранное поэта О — ва»
(где сто двадцать строчек
Блока).

№ 22100 Пока еще неизвестно что.

№ 48. Манто, кожаное, но
хлоркой сведено пятно.

№ 1968 Судья класса «А»,
мыло «Москва».

На оставшийся 21 билет
выпадает 10 лет».

III

Размечталась, как пропеллер,
воровская лотерея:
«Бриллианты миссис Тэйлор,
и ворованные ею
многодетные мужчины,
и ворованная ими
нефть печальных бедуинов,
и ворованные теми
самолеты в Йемене,
и ворованное время
ваше, читатель, к этой теме,
и ворованные Временем
наши жизни в море бренном,

где ворованы ныряльщиком
бриллианты нереальные,
что украли душу, тело
у бедняжки миссис Тэйлор»...

IV

И на голос твой с порога,
мел сметая с потолков,
заглянет любитель Блока
участковый Уголков,
потоскует синеоко
и уйдет, не расколов.

(Посерьезнее Голгоф
участковый Уголков.)

С этой ночи нет покоя.
Машет в бедной голове
синий махаон с каймою
милицейских галифе.

Чуть застежка залоснилась,
как у бабочки брюшко.
Что вы, синие, приснились?
Укатают далеко.
(Где посылки до кило.)

Дочь твоя ушла, вернулась
и к окошку отвернулась,
молода, худа и сжата,
плоскозада, как лопата,

со скользящим желобком —
закопает вечерком
с корешами вчетвером!

Рысь, наследница, невеста.
И дежурит у подъезда
вежливый, как прокурор,
эксплуатируемый вор.

V

«Хорошо б купить купейный
в детство северной губернии,
где безвестность и тоска!..
Да накрылись отпуска.

Жжет в узле кожанка краденая.
Очищают дачу в Кратове.
Блюминг вынести — раз плюнуть!
Но кому пристроишь блюминг?..»

По Арбату выюга дует...
С рацией, как рыболов,
эти мысли пеленгует
участковый Уголков.

1970

* * *

Сложи атлас, школярка шалая,—
мне шутить с тобою легко,—
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.

Совместятся горы и воды,
Колокольный Великий Иван,
будто в ножны, войдет в колодец,
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопki.

Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.

А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колят верхушками ели,
чтобы плечи не подымал.

Я нашел отпечаток шины
на ванкуверской мостовой
перевернутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.

И висят как летучие мыши
надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где живали и мы с тобой.

Нам рукою помашет хиппи.
Вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча — как черная скрипка
крикнет гамлетовский рукав.

1971

Вечные мальчишки

Его правые тротилом подорвали —
меценат, «пацан», революционер...
Как доверчиво усы его свисали,
точно гусеница-землемер!

Это имя раньше женщина носила.
И ей кто-то вместо лозунга «люблю»
расстелил четыре тыщи апельсинов,
словно огненный булжник на полу.

И она бровями синими косила.
Отражались и отплясывали в ней
апельсины,

апельсины,

апельсины,

словно бешеные яблоки коней!..

Не убили бы... Будь я христианином,
я б молил за атеисточку творца,
чтобы уберег ее и сына,
третьеклашку, но ровесника отца.

Называли «рреволюционной корью».
Но бывает вечный возраст, как талант.
Это право, окупаемое кровью.
Кровь «мальчишек» оттирать и оттирать.

Все кафе гудят о красном Монте Кристо...
Меж столами, обмеряя пустомель,
бродят горькие усищи нигилиста,
точно гусеница-землемер.

1972

Донор дыхания

Так спасают автогонщиков.

Врач случайная, не ждавши «скорой помощи»,
с силой в легкие вдувает кислород —
рот в рот!

Есть отвага медицинская последняя —
без посредников, как жрица мясоедная,
рот в рот,
не сестрою, а женою милосердия
душу всю ему до доньшка дает —
рот в рот,
одновременно массируя предсердие.

Ванька-авангардист

На рынке полно картин,
все с лебедями и радугами.
А Ванька-авангардист
все кубиками-квадратиками!

Рынок — Малые Лужники.
Слева в фартуках мужички.
Справа сборная команда —
бабы в брюках и помадах.
Справа сумки, слева гири,
справа шутки, слева сбили!

Справа — твисты и зарплаты,
слева — избы и закаты,
слева — «Волги», справа — «Волги»,
слева — к водке, справа — к водке.
Вавилон из-за томата.
Бабка, попроси тайм-аута!

А Ванька-авангардист
подзуживает, подсуживает
в разбойный судейский свист
свистульки из глины посудной!
Глощает валокордин
профессор в рубашке с напуском,

А Ванька-авангардист
все делит прищуром снайперским.
Он знает неомещан
сберкнижные аппетиты,
юродивый коммерсант,
антихрист нового типа.

Клеенщица-конкуренщица:
«Ты докарикатурекаешься!
Сам в треугольник скорчишься,
попей рассол огуречный...»
А он ей: «Цыц, лакировщица!»

Липучий мушиный лист
с Аленушкой.
Клееночный реализм
и модернизм клееночный.

Английской булавкой блестят
связки сушеных рыбок.
Нацелен сопливый взгляд.
Он завоюет рынок.

Все куплено, куплено, куплено,
выскреблены раструбы.
Толпа — как цыплята под куполом
внимательным, как ястреб.

Продает папаша дочку,
дочка продает папашу,
и друзья, упившись в доску,
тащат друга на продажу.
Весны продаются летом,
продается муж надкусанный,
критик продает поэта,
оба продают искусство.

А Ванька-авангардист
трамбуется деньжата в кадущку.
В тоскливую ночь зародил
тебя твой отец контуженный.
Тоскливая ночь любви
пронзала до позвоночника.
Тоскливы лубки твои,
как пьяная поножовщина!

...Пацанка-хромоножка
играет на гармошке.

И рученьки фарфоровые
засунуты в меха,
как руки у фотографа
в таинственный рукав.

Сквозь лобик невозможный
в нахмуренном уме
танцующие ножки
просвечивают мне.

Сидит, как чертик с рожками,
на затылке с ножками.

С прикрытыми глазами
индийский колдунок,
витает над базаром
виденье лунных ног.

«Ах, белые наливки
продались за рубли,
ах, бедные наивы
надежды и любви...»

А Ванька-авангардист:
«Станцуем, — дразнит, — хромая!»
Он мучит ее, садист,
как совесть свою ромашковую.
А вчера, чтоб ее не кадрил,
избил в туалете карманника.

Атанда, авангардист!
Химерны твои мечтания.
Ведь даже твой козырь давний,
твоя тупиковая дама,
«общественница» тайная,
в киоске для вод гадая,
тебе не сыграет в лист.

1971

* * *

Висит метла — как танцплощадка,
как тесно скручённые люди,
внизу, как тыща ног нещадных,
чуть-чуть просвечивают прутья.

1971

Реквием оптимистический

За упокой Высоцкого Владимира
коленипреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,
отшетый,
ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлете,
орет за тридевять земель:
«Володя!»

Бродил закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери — большой,
золотенький,
под ним для мальчика — меньшей...)
Володька!
За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Отныне вечный выходной —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай; Россия.
Какое время на дворе —
таков мессия.

Но в Склифосовке филиал
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.

Ввернули серые твои,
как в новоселье.
Сказали: «Топай. Чти ГАИ.
Пой веселее».

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры,
Козыри — крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!

* * *

Признаю искусство
и «Полет валькирий»,
но люблю кукушку
и Ростов Великий.

Жду за кинофабрикой
еле-еле-еле
звон ионафановский
и полиелейный.

Не само искусство,
а перед искусством
схожее с испугом
праздничное чувство.

Перед каждым новым
вам не шелохнуться.
Между каждым словом —
с жизнью расстаются!

1972

Неужели астронавты завтра улетят на Марс,
а послезавтра
вернутся в эпоху скотоводческого феодализма?

Неужели Шекспира заставят каяться
в незнапии «измов»?
Неужели Стравинского поволокут
по воющим улицам?

Я думаю, право ли большинство?
Право ли наводнение во Флоренции,
круша палаццо, как орехи грецкие?
Но победит Чело, а не число.

Я думаю, — толпа иль единица?
Что длительней — столетье или миг,
который Микеланджело постиг?
Столетье сдохло, а мгновение длится.

Я думаю...

Народ не бывает Кучумом. Кучумы — это
божки.

Кучумство — не нация Лу Синя и Ци Бай-ши.
При чем тут расцветка кожи?

Мы знали их,
белокурых.

Кучумство с подростков кожу
сдирало на абажуры.

Кучумы — цари и боссы.

Тирания избу и чум,
поправши Кучумку, Грозный
сам правил как сверхкучум.

По радио, как колотушка, шовинистический шум.
Вы скажете — «маскультура»,
а я говорю — «кучум»!
Чавкая чуингамом, впечатывая каучук,
за волосы дочь Вьетнама волочит неокучум.
Неужто Париж над кострами вспыхнет,
как мотылек?
К чему же века истории, коль снова
на четырех?..

*

Гляжу я, ночной прохожий,
на лунный и круглый стог.
Он сверху прикрыт рогожей —
чтоб дождичком не промок.

И так же сквозь дождик плещущий
космического сентября,
накинув
Россию
на плечи,
поеживается Земля.

1967

Заповедь

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданнее брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина,
Это же умопепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с
«ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

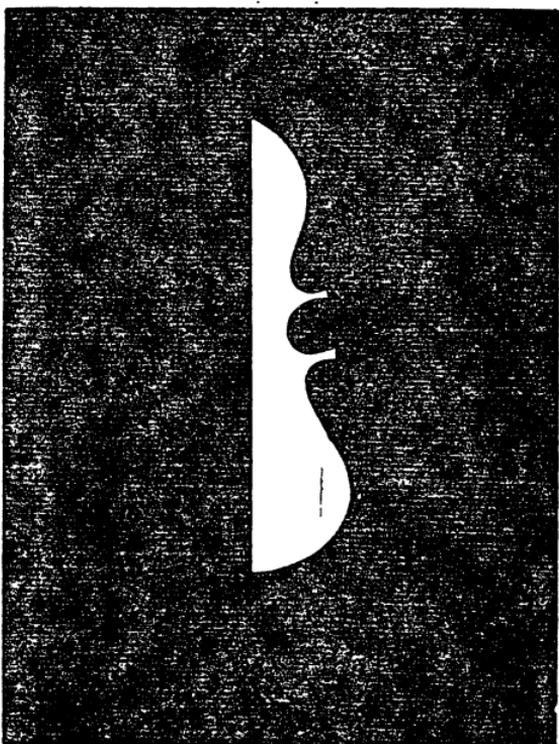
Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

«Авошь»

ОПИСАНИЕ

в сентиментальных документах, стихах и молитвах
славных злоключений Действительного Камер-Гетра
НИКОЛАЯ РЕЗАНОВА,
доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова,
их быстрых парусников «Юнона» и «Авошь»,
сан-францисского Коменданта Дон Хосе Дарио
Аргуэльо, любезной дочери его Кончи
с приложением карты страствий необычайных.



«Но здесь должен я Вашему Сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная Консепсия умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность, начали неприменно заполнять пустоту в моем сердце, мы ежечастно зближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою...»

*Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву
17 июня 1806 г.
(ЦГИА, ф. 13, с. 1, д. 687)*

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его,

мне первому из Россиян здесь бродить так сказать
по пожевому острию...»

*Н. Резанов — директорам Русско-амер. компании
6 ноября 1805 г.*

«Теперь надеюсь, что «Авось» наш в Мае на
воду спущен будет...»

*от Резанова же 15 февраля 1806 г.
Секретно*

Вступление

**«Авось» называется наша шхуна.
Луна на волне, как сухой овес.
Трави, Муза, пускай худо,
но нашу веру зовут «Авось»!**

**«Авось» разгуляется, «Авось» вывезет,
гармонизируется Хаос.
На суше барщина и Фонвизины,
а у нас весенний девиз «Авось»!**

**Когда бессильна «Аве Мария»,
сквозь нас выдыхивает до звезд
атеистическая Россия
сверхъестественное «авось»!**

**Нас мало, нас адски мало,
и самое страшное, что мы врозь,
но из всех притонов, из всех кошмаров
мы возвращаемся на «Авось».**

**У нас ноль шансов против тыщи.
Крыш-ка!
Но наш ноль — просто красотища,
ведь мы выживали при «минус сорока».**

**Довольно паузы. Будет шоу.
«Авось» отплыть провозгласил.
Пусть пусто у паруса за душою,
но пусто в сто лошадиных сил!**

**Когда ж, наконец, откинем копыта
и превратимся в звезду, в навёз —
про нас напишет стишки пиита
с фамилией, начинающейся на «Авось».**

I. Пролог

**В Сан-Франциско «Авось» пиратствует —
ЧП!**

**Доченька губернаторская
спит у русского на плече.**

**И за то, что дыханьем слабым
тельный крест его запотел,
Католичество и Православье,
вздев крыла, стоят у портьер.**

**Расшатываются устои.
Ей шестнадцать с позавчера,
с дня рождения удрала!
На посту Довыдов с Хвостовым
пьют и крестятся до утра.**

II

ХВАСЛОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: О происхождении видов?

ХВАСЛОВ: Да нет...

III

(Молитва Кончи Аргуэльо — Богоматери)

Плачет с сан-францисской колокольни
барышня. Аукается с ней
Ярославна! Нет, Кончаковна —
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Мать-заступница,
против родины и отца,
государственная преступница,
полюбила я пришлеца.

Полюбила за славу риска,
в непроглядные времена
на балконе высекла искру
пряжка сброшенного ремня.

**И за то, что учил впервые
словесам ненашей страны,
что как будто цветы ночные,
распускающиеся в порыве,
ночью пахнут, а днем — дурны.**

**Пособи мне, как пособила б
баба бабе. Ах, Божья Мать,
ты, которая не любила,
как ты можешь меня понять?!**

**Как нища ты, людская вселенная,
в боги выбравшая свой
плод искусственного осеменения,
дитя духа и нелюбви!**

**Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток?
Губернаторская дочь, Конча,
рада я, что сын твой издох!..»**

**И ответила Непорочная:
«Доченька...»**

**Ну, а дальше мы знать не вправе,
что там шепчут две бабы с тоской —
одна вся в серебре, другая —
до колен в рубашке мужской.**

IV

ХВАСТОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: Как вздернуть немцев и пиитов?

ХВАСТОВ: Да нет...

ДОВЫДОВ: Что деспоты не создают условий для работы?

ХВАСТОВ: Да нет...

V

(Молитва Резанова — Богоматери)

«Ну, что тебе надо еще от меня?
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты музыка сада,
ну что тебе надо еще от меня?»

Я был не из знати. Простая семья.
Сказала: «Ты темен» — учился латыни.
Я новые земли открыл золотые,
И это гордыни твоей не цена?

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
Зачем же лишаешь последней услады?
Она ж несмышлениш и малое чадо...
Ну, что тебе мало уже от меня?»

И вздрогнули ризы, окладом звеня.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

VI

ХВАСЛОВ: А что ты думаешь, Довыдов...

ДОВЫДОВ: О макси-хламидах?

ХВАСЛОВ: Да нет... **ДОВЫДОВ:** Дистрофично
безвластие, а власть катастрофична?

ХВАСЛОВ: Да нет... **ДОВЫДОВ:** Вы надулись?

Что я и крепостник и вольнодумец?

ХВАСЛОВ: Да нет. О бабе, о резановской.

Вдруг нас американцы водят за нос?

ДОВЫДОВ: Мыслю, как и ты, Хваслов,— давить
их, шлюх, без лишних слов.

ХВАСЛОВ: Глядь! Дева в небе показалась, на
облачке. **ДОВЫДОВ:** Показалось...

VII

(ОПИСАНИЕ СВАДЬБЫ, ИМЕВШЕЙ БЫТЬ 1 АПРЕЛЯ 1806 г.)

«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на судне, ни на крепости, гишпанские гитары смешивались с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

Помнишь, свадебные слуги, после радужной севрюги, апельсинами в вине обносили не?

как лиловый поп в битловке, под колокола былого,
кольца, тесные с обновки с имечком на тыльной
стороне,—
нам примерил не?

а Довыдов с Хвастовым, в зал обеденный с восторгом
выпрыгнувших на скакуне,—
выводили не?

а мамаша, удивившись, будто давленные вишни
на брюссельской простыне, озадаченной родне,—
предъявила не?
(лейтенантик Н
застрелился не)

а когда вы шли с поклоном, смертно-бледная мадонна
к фиолетовой стене
отвернулась не?

Губернаторская дочка,
где те гости? Ночь пуста.
Перепутались цепочкой
два нательные креста.

Архивные документы, относящиеся к делу Резанова Н. П.

(КОММЕНТИРУЮТ АРХ. КРЫСЫ — ИГРЕКИ И ИКСЫ)

№ 1

«...но имя Монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство чуждым народам... Государство в одном месте избавляется вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает...»

Н. Резанов — Н. Румянцеву

№ 2. Второе письмо Резанова — И. И. Дмитриеву

Любезный Государь Иван Иванович Дмитриев,
оповещаю, что достал
тебе настойку из термитов.
Душой я бешено устал!

Чего ищу? Чего-то свежего!
Земли старые — старый сифилис.
Начинают театры с вешалок.
Начинаются царства с виселиц.
Земли новые — табула раза.
Расселю там новую расу —
Третий Мир — без деньги и петли,
ни республики, ни короны!
Где земли золотое лоно,
как по золоту пишут иконы,
будут лики людей светлы.

Был мне сон, дурной и чудесный.
(Видно, я переел синюх.)
Да, случась при Дворе, посодействуй —
на американочке женюсь...

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов,
из куртизанов!
Хихикс...»

№ 3. Выписка из истории гг. Довыдова и Хвастова

Были петербуржцы — станем сыктывкарцы.

На снегу дуэльном — два костра.

Одного — на небо, другого — в карцер!

После сатисфакции — два конца!

Но пуля врезалась в пулю встречную.

Ай да Довыдов и Хвастов!

Враги вечные на братство венчаны.

И оба — к Резанову, на Дальний Восток...

ЧИН ИГРЕК:

«Засечены в подпольных играх».

ЧИН ИКС:

«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 г. Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х , главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезного человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то зделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Давыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил $9\frac{1}{2}$ ведр французской водки и $2\frac{1}{2}$ ведра крепкого спирту кроме отпусков другим и, словом, спо-

ил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь спит с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны...»

(Из Второго секретного письма Резанова)

«17 июня 1806 г. Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядами окруженных».

Резанов — министру коммерции

Рапорт

**Мы — Довыдов и Хвастов,
оба лейтенанты.
Прикажите — в сто стволов
жахнем латинянам!**

**«Стоп, Довыдов и Хвастов!» —
«Вы мягки, Резанов». —
«Уезжаю. Дайте штоф.
Вас оставлю в замах».**

**В бой, Довыдов и Хвастов!
Улетели. Рапорт:
«Пять восточных островов
Ваши, Император!»**

«Я должен отдать справедливость искусству гг. Хвостова и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их...»

«18 октября 1807 г. Когда я взшел к Капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне ни Лейтенанту Хвостову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-либо смертного... Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку.

Вот картина моего состояния! Вот награда, есть ли не услуг, то по крайней мере желания оказать оные. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей сердце обливается кровью и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.

Мичман Давыдов».

(Выписка из «Донесения Мичмана Давыдова на квартире уже под политическим караулом»)

№ 6.

ЧИН ИГРЕК:

Вот панегирик:

«Николай Резанов был прозорливым политиком. Живи Н. Резанов на 10 лет дольше, то, что мы называем сейчас Калифорнией и Американской Британской Колумбией, были бы русской территорией».

Адмирал Ван Дерс (США)

ЧИН ИКС

Сравним, что говорит нам Головнин:

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имеющий голову более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете...»

Флота Капитан 2-го ранга и кавалер В. М. Головнин,

ЧИН ИКС:

«А вы, Резанов,
пропили замок.
Вот Иск».

№ 7. Из письма Резанова — Державину

Тут одного гишпанца угораздило
по-своему переложить Горация.
Понятно, это не Державин,
но любопытен по терзаньям:

«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный.
Увечный
наш бранный разум цепляется за пирамиды, статуи,
памятные места —
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше — но далее ни
черта!

**Я — последний поэт цивилизации.
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.
В эпоху духовного кризиса и цифиризации
культура — позорнейшая из вещей.**

**Позорно знать неправду и не назвать ее,
а назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны называть свадьбою,
да еще кривляться на похоронах.**

**За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-американо-азиат
с корнем выроет мой фундамент,
и будет дыра из планеты зиять.**

**И они примутся доказывать, что слова мои были
вздорные,
Сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг...
И я буду счастлив, что меня справедливо вздернули.
Вот это будет тот еще памятник!»**

№ 8

«16 августа 1804 г. Я должен так же Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более препятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более нежели 30-ть человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаянье, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».

(Из письма Н. Резанова Императору)

ЧИН ИКС:

**«И ты, без женщин забуревший,
на импорт клюнул зарубежный?!
Раскис!»**

М 9

**«Предложение мое сразило воспитанных
в фанатизме родителей ея, разность религий,
и впереди разлука с дочерью было для них
громовым ударом».**

**Отнесите родителям выкуп
за жену:
макси-шубу с опушкой из выхухоля,
фасон «бабушка-инженю»,**

**Принесите кровать с подзорами,
и, как зрящий сквозь землю глаз,
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»**

**(если глянуть в ее окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной
трубы нашего полушария,
наблюдающие за тобой),**

**принесите бокалы силезские
из поющего хрустала,
ведешь влево — поют «Марсельезу»,
ну а вправо — «Храни короля»,**

**принесите три самых желания,
что я прятал от жен и друзей,
что угрюмо отдал на закляние
авантюрной планиде моей!..**

**Принесите карты открытий,
в дымке золота как пыльца,
и, облив самогоном,—
сожгите
у надменных дверей дворца!**

«...они прибегнули к Миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Консепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что соглашено с тем, чтоб до разрешения Папы было сие тайною».

№ 10

ЧИН ИКС:

**«Еще есть образ Божьей Матери,
где на эмальке матовой
автограф Их-с...»**

«Я представлял ей край Российской посу-
ровее и притом во всем изобильной, она была
готова жить в нем...»

№ 11. Резанов — Копто

**Я тебе расскажу о России,
где злодействует соловей,
сжатый страшной любовной силой,
как серебряный силомер.**

**Там храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
белоснежные контрофорсы,
будто лошади воду пьют.**

**Их ночная вода поила
вкусом чуда и чабреца,
чтоб наполнить земною силой
утомленные небеса.**

**Через год мы вернемся в Россию.
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились
царь мой, Папа и твой отец!**

VIII

(В СЕНАТЕ)

**Восхитились. Разобрались. Заклеймили.
Разобрались. Наградили. Вознесли.
Разобрались. Взрешновали. Позабыли.
Господи благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.**

IX

(Молитва Богородице — Резанову)

Светлый мой, возлюбленный, студится
тыща восемьсотая весна!
Мать от Любви Своей Отступница,
я перед природою грешна.

Слушая рождественские звоны,
думаешь, я радостна была?
О любви моей незарожденной
похоронно бьют колокола.

Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильни.
Плоть не против Духа, ибо дух —
то, что возникает между двух.

**Тело отпусти на покаяние!
Мои церкви в тыщи киловатт
загашу за счастье окаянное
губы в табаке поцеловать!**

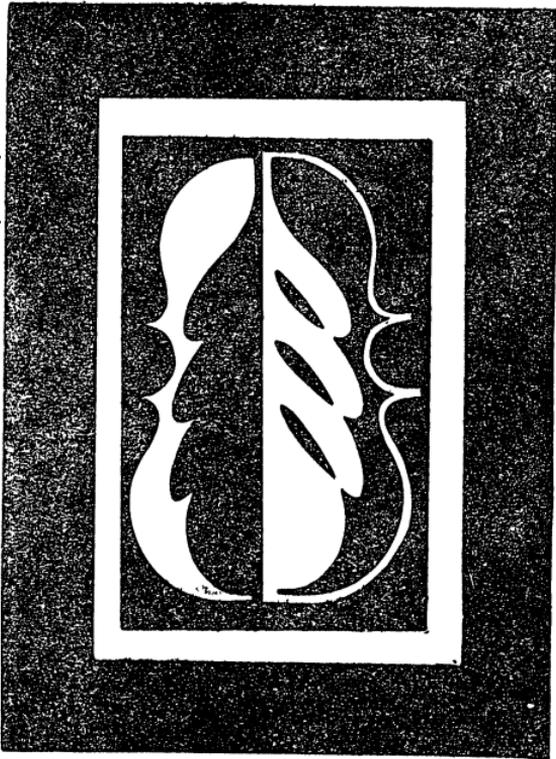
**Бог, Любовь Единая в двух лицах,
воскреси любую из марусь...
Николай и наглая девица,
вам молюсь!**

ЭПИЛОГ

**Спите, милые, на шкурах росомаховых.
Он погибнет в Красноярске через год.
Она выбросит в пучину мертвый плод,
станет первой сан-францисской монахиней.**

1970

Стрела в стекле



Роща

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
боже, не приведи!

Не бей человека, птица.
Еще не открыт отстрел.
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое — острей,

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей —
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968

Стрела в стене

Тамбовский волк тебе товарищ
и друг,
когда ты со стены срываешь
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,
с плеча откинется рука,
стрела задышит, не насытись,
как продолжение соска.

С какую женственностью лютой
в стене засажена стрела —
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!

Стрела — в стене каркасной стройки,
во всем, что в силе и в цене.
Вы думали — век электроники?
Стрела в стене!

Горите, судьбы и державы!
Стрела в стене.
Тебе от слез не удержаться
наедине, наедине.

Над украшательскими нишами,
как шах семье,
ультиматумативно нищая
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:
«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка, — добавлю, — скифка...»
Ты скажешь: «Фиг-то»...

Отдай, тетивка сыромятная,
найтишайшую из стрел
так тихо и невероятно,
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,
но это тянется года.
И под моим высотным домом
проходит темная вода.

Глубинная струя влеченья.
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли четкая стрела.

Тоска

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю дерсушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.

Не пишется

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой точит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшную зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысаясь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Но верю я, моя родня
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1968

Ялтинская криминалистическая лаборатория

Сашка Марков, ты — король лаборатории.
Шашка сыска, стихотворец и дитя.
Пред тобою все оторвы припортовые
обожающе снижают скоростя.

Кабинет криминалистики — как перечень.
Сашка Марков, будь Вергилием, веди!
Обвиняемые или потерпевшие,
стонут вещи с отпечатками беды.

Чья вина позапекалась на напильнике?
Группа крови. Заспиртованный урод.
Заявление: «Раскаявшись, насильника
на поруки потерпевшая берет».

И, глядя на эту космографию,
точно дети нос приплюснули во мрак,
под стеклом стола четыре фотографии —
ах, Марина, Маяковский, Пастернак...

Ах, поэты, с беззаветностью отдавшиеся
ситуациям, эпохам, временам, —
обвиняемые или пострадавшие,
с беспощадностью прощающие нам!

Экспертиза, называемая славою,
в наше время для познания нет преград.
Знают правые, что левые творят,
но не ведают, где левые, где правые...

И, глядя в меня глазами потеплевшими,
инстинктивно проклинаемое мной,
обвиняемое или потерпевшее,
воет Время над моею головой!

Победители, прикованные к пленным.
Невменяемой эпохи лабиринт.
Просветление на грани преступления.
Боже правый, Сашка Марков, разберись!

1968

Диалог Джерри, Сан-Францисского поэта

- Итак,
в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда,
свидетель себя и мира в 60-е года?
- Да!
- Клянетесь ответствовать правду в ответ?
- Да.
- Живя на огромной, счастливейшей из планет,
песчиночке из моего решета...
- Да.
- ...вы производили свой эксперимент?
- Да.
- Любили вы петь и считали, что музыка — ваша звезда?

- Да.
- Имели вы слух или голос и знали хотя бы предмет?
- Нет.

— Вы знали ли женщину с узкою трубочкой рта?
И дом с фонарем отражался в пруду, как бубновый валет?

- Нет.
- Все виски просила без соды и льда?
- Нет, нет, нет!
- Вы жизнь ей вручили. Где женщина та?
- Нет.

— Вы все испытали — монаршая милость, политика,
деньги, нужда,
все, только бы песни увидели свет,
дешевую славу с такою доплатою вслед!

- Да.
- И все ж, мой отличник, познания ваши на «2»?
- Да.

— Хотели пустыни — а шли в города,
смирили ль гордыню, став модой газет?

- Нет.

— Вы были ль у цели, когда стадионы ревели вам
«Дай»!

- Нет.
- Иль, может, когда отвернулись, поверив в наветы
клевет?

— Почти да.

— В стишках все — вопросы, в них только и есть что
вред,
производительность труда

падает, читая сей бред?

— Да.

— И все же вы верите в некий просвет?

— Да.

— Ну, мальчики, может,

ну, девочки, может,

но сникнут под ношею лет,

друзья же подались в искусство «дада»?

— Кто да.

— Все — белиберда,

в вас нет смысла, поэт!

— Да, если нет.

— Вы дали ли счастье той женщине, для
которой трудились, чей образ воспет?

— Да,

то есть нет.

— Глухарь стихотворный, напяливший джинсы,
поешь, наступая на горло собственной жизни?

Вернешься домой — дома стонет беда?

— Да.

— Хотел ли свободы парижский Конвент?

Преступностью ль стала его правота?

— Да.

— На вашей земле холода, холода,

такие пространства, хоть крикни — все сходит на нет?..

— Да.

— Вы лбом прошибали из тьмы ворота,
а за воротами — опять темнота?

— Да.

— Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, случится
беда,

Вам жаль ваше тело, ну ладно.

Но маму, но тайну оставшихся лет?

— Да.

— Да?

— Нет.

— ?..

— ?..

— Нет.

— Итак, продолжаете эксперимент? Айда!

Обрыдла мне исповедь,

Вы — сумасшедший, лжеидол, балда, паразит!

Идете витийствовать? зло поразить? иль простить?

Так в чем же есть истина? В «да» или в «нет»?

— С п р о с и т ь.

В ответы не втиснуты

Судьбы и слезы.

В вопросе и истина.

Поэты — вопросы.

1967

* * *

Суздальская богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати...

Невмоготу понимать все.

1968

* * *

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
занает — спасу нет!

Я думаю, что бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не сберег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны.

Застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ..

Обязанность стиха
быть органом стыда.

1967

Старая песня

Г. Джагарову

«По деревне янычары детей отбирают...»

Болгарская народная песня

Пой, Георгий, прошлое болит,
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит,

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если ты, положим, янычар,
не свои ль сжигаешь алтари,
где чужие — можешь различать,
но не понимаешь, где свои.

Безобразя рощи и ручьи,
человеком сделавши на миг,
кто меня, Георгий, отлучил
от древесных родичей моих?

Вырванные груди волоча,
остолбенева от любви,
мама, отшатнись от палача.

Мама! У него глаза — твои.

1968

* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами приснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опущка — я тебя люблю!
Зверюга — я тебя люблю!
Разлука — я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесет и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивесельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдет деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И как ремень с латунной пряжкой
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю.

Над пнем склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несешь мне гибель, почтальонша?
Проходя, тебя люблю!

Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боев и риска,
Чек, ярлычок на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

1967

Уже подснежники

К полудню
или же поздней еще,
ни в коем случае
не ранее,
набрякнут под землей подснежники.
Их выбирают
с замираньем,

Их собирают
непоспевшими
в нагорной рощице дубовой,
на пальцы дуж
покрасневшие,

на солнцепеке,
где сильнее еще
снег пахнет
молодой любовью.

Вытягивайте
потихонечку
бутоны из стручка
опасливо —
как авторучки из чехольчиков
с стержнями белыми
для пасты.

Они заправлены
туманом,
слезами
или чем-то высшим,
что мы в себе
 не понимаем,
не читаем,
но не спишем.

Но где-то вы уже записаны,
и что-то послушалось
 с вами
невидимо,
но несмываемо.
И вы от этого зависимы.

Уже не вы,
а вас собрали

лесные пальчики в оправе.
Такая тяга потаенная
в вас,
новорожденные змейки,
с порочно-детскою,
лимонною
усмешкой!

Потом вы их на шапку
сложите,—
кемарьте,
замерзнувшие, как ложечки,
серебряные
и с эмалью.

Когда же через час
вы вспомните:
«А где же?»
В лицо вам ткнутся
пуще прежнего
распущенные
и помешанные —
уже подснежники!

1968

Карты, руки, ключья кожи
как же я тебя найду?
В середине зонт, похожий
на подводную звезду, —
8 спиц, ног 8 пар.
Упоительный поп-арт!

*Пляж, пляж,
где работают лежа,
а филоняют стоя,
где маскируются, раздеваясь,
где за 10 коп. ты можешь увидеть будущее —
«От горизонта одного — к горизонту
многих...»
«Извиняюсь, вы не видели мою ногу?
Размер 37... Обменяли...»*

«Как же, вот сейчас видала —
в облачках она витала.
Пара крылышков на ей,
как подвязочки!
Только уточняю: номер 38¹/₂...»

Горизонты растворялись
между небом и водой,
облаками, островами,
между камнем и рукой.

На матрасе — пять подружек,
лицами одна к одной,
как пять пальцев в босоножке
перетянуты тесьмой.

Пляж и полдень — продолженье
той божественной ступни.

Пошевеливает Время
величавою ногой.

Я люблю уйти в сиянье,
где границы никакой.
Море — полусостоянье
между небом и землей,
между водами и сушей,
между многими и мной;
между вымыслом и сущим,
между телом и душой.

Как в насыщенном растворе,
что-то вот произойдет:
суша, растворяясь в море,
переходит в небосвод.

И уже из небосвода
что-то возвращалось к нам
вроде бога и природы
и хождения по водам.

*Понятно, бог был невидим.
Только треугольная чайка
замерла в центре неба,
белая и тяжело дышащая,—
как белые плавки бога...*

Рождественские пляжи

Людмила,
 в сочельник,
 Людмила, Людмила,
в вагоне зажженная елочка пляшет.
Мы выйдем у Взморья.
 Оно нелюдимо.

В снегу наши пляжи!
В снегу наше лето.
 Боюсь провалиться.
Под снегом шуршат наши тени песчаные.
Как если бы гипсом
 криминалисты
следы опечатали.

В снегу наши августы, жар босоножек —
все лажа!
Как жрут англичане огонь и мороженое,
мы бросимся навзничь
 на снежные пляжи.

Сто раз хоронили нас мудро и матерно,
мы вас эпатируем счастьем, мудрилы!..
Когда же ты встанешь,
останется вмятина —
в снегу во весь рост
отпечаток
Людмила.

Людмила,
с тех пор в моей спутанной жизни
звонит пустота —
в форме шеи с плечами,
и две пустоты —
как ладони оттиснуты,
и тянет и тянет, как тяга печная!

С звездой во лбу прибежала ты осенью
в промокшей штормовке.
Вода западала в надбровную оспинку.
(Наверно, песчинка прилипла к формовке.)

Людмилая-2, я помолвлен с двойняшками.
Не плачь. Не в Путивле.
Как рядом болишь ты,
подушку обмявши,
и тень жалюзи
на тебе,
как тельняшка...

Как будто тебя
от меня ампутировали.

Бой петухов

Петухи!
Петухи!
Потуши!
Потуши!
Спор шпор,
ку-ка-рехнулись!
Урарь!
Ху-ха...
Кухарка
харакири
хор
(у, икающие хари!).

«Ни фига себе Икар!»

хр-рр!

Какое бешеное счастье,
хрипя воронкой горловой,
под улюлюканье промчатся
с оторванною головой!

Забыв, что мертв, презрев природу,
по пояс в дряни бытия,
по горло в музыке восхода —
забыться до бессмертия!

Через заборы, всех беся,—
на небеса!

Там, где гуляют грандиозно
коллеги в музыке лугов,
как красные

аккордеоны
с клавиатурами хвостов.

О лабухи Иерихона!
Империи и небосклоны.
Зареванные города.
Серебряные голоса.

(А кошка, злая, как оса,
не залетит на небеса.)

Но по ночам их к мщенью требует
с асфальтов, жилисто-жива,
как петушиный орден

с гребнем,
оторванная голова.

Морозный ипподром

В. Аксенову

Табуном рванулись трибуны к стартам.

В центре — лошади,

вкопанные в наст.

Ты думаешь, Вася,

мы на них ставим?

Они, кобылы, поставили на нас.

На меня поставила вороная иноходь.

Яблоки по крупу — е-мое...

Умеет крупно конюшню вынюхать.

Беру все финиши, а выигрыш — ее.

Королю кажется, что он правит.
Людям кажется, что им — они.
Природа и роци на нас поставили.
А мы — гони!

*Колдуют лошади, они шепочут.
К столбу Ханурик примерз цепочкой.
Все-таки 43°...
Птица замерзла в воздухе, как елочная игрушка.
Мрак, надвигаясь с востока, замерз посредине
неба, как шторка
у испорченного фотоаппарата.
А у нас в Переделкине, в Доме творчества, были
открыты 16 форточек.
Около каждой стоял круглый плотный комок
комнатного воздуха.
Он состоял из сонного дыхания, перегара,
тяжелых идей.
Некоторые заклопливают фортки марлей,
чтобы идеи не вылетали из комнаты,
как мухи.
У тех воздух свисал тугой и плотный,
как творог в тряпочке...*

Взирают лошади в городах:
как роци в яблоках о четырех стволах...

Свистят Ханурику.
Но кто свистит?
Свисток считает, что он свистит.
Сержант считает, что он свистит.
Закон считает, что он свистит.

Планета кружится в свистке горошиной,
но в чьей свистульке? Кто свищет? Глядь —
упал Ханурик. Хохочут лошади —
кобыла Дуцька, Судьба, конь Блед.

Хохочут лошади.

Их стоны жутки:

«Давай, очкарик! Нажми! Бодрей!»

Их головы покачиваются,

как на парашютиках,

на паре, выброшенном из ноздрей.

Понятно, мгновенно замершем.

Все-таки 45°...

У ворот ипподрома лежал Ханурик.

Он лежал навзничь. Слева — еще пять.

Над его круглым ртом,

короткая, как вертикальный штопор,

открытый из перочинного ножа, стояла

замерзшая Душа.

Она была похожа на поставленную торчком

винтообразную сосульку.

Видно, испарялась по спирали,

да так и замерзла.

И как, бывает, в сосульку вмерзает листик или

веточка,

внутри ее вмерзло доказательство добрых дел,

взятое с собой. Это был обрывок заявления

на соседа за невыключенный радиоприемник.

Над соседними тоже стояли Души, как пустые

бутылки.

Между тел бродил Ангел.

Он был одет в сатиновый халат подметальщика.

*Он собирал Души, как порожние бутылки.
Внимательно
проводил пальцем — нет ли зазубрин.
Бракованные скорбно откидывал через плечо.
Когда он отходил, на снегу оставались отпечатки
следов с подковками...*

*...А лошадь Ангел — в дыму морозном
ноги растворились,
как в азотной кислоте,
шейку шаловливо отогнула, как полозья,
сама, как саночки, скользит на животе!..*

1967

* * *

Графоманы Москвы,
меня судите строго,
но крадете мои
несуразные строки.

Вы, конечно, чисты
от оплошностей ложных.
Ваши ядра пусты,
точно кольца у ножниц.

Засвищу с высоты
из Владимирской пустоши —
бесполезные рты
разевайте и слушайте.

1967

А ты меня шерстишь и любишь,
когда ж грустишь —
выплакиваешь мне, что людям
не сообщишь.

В мурло уткнешься меховое,
В репьях, в шипах...
И слезы общею звездою
В шерсти шипят.

И неминуемо минуем
твою беду
в именуемо немую
минуту ту.

А утром я свищу насильно,
но мой язык —
что слезы
слизывал
России,
чей светел лик.

1967

Испытание Болотохода

По болоту,
 сглотавшему бак питательный,
по болотам,
 болотам,
 темней мазута, —
испытатели! —
по болотам Тюменским,
 потом Мазурским...

Благогласно имя болотохода!
Он, как винт мясорубки, ревет паряще.
Он — в порядочке!
Если хочешь полета — учти болота.

По болоту, облу, озорну, — спятите!..
По болотам, завистливым и залиivistым,
по трясинам,
 резинам,
 годам —
 не вылезти —
испытатели!

По болотам — полотнищам сдавшихся армий,
замороженной клюквой стуча картинно,
с испытаний,
поборовши,
 Черных добредет в квартиру.

И к роялю сядет, разя соляркой,
и педаль утопит, как акселератор,
и взревет Шопен болевой балладой
по болотам —
 пленительным и проклятым!

1967

* * *

Напоили.

Первый раз ты так пьяна,
на пари ли?
Виновата ли весна?
Пахнет ночью из окна
и полынью.
Пол — отвесный, как стена...
Напоили.

Меж партнеров и мадам
синеглазо
бродит ангел вдребадан,
семиклашка.

Ее мутит. Как ей быть?
Хочет взрослою побыть.

А в передней
все наяривает джаз,
как посредник:
«Все на свете в первый раз,
не сейчас — так через час,
интересней в первый раз,
чем в последний...»

Но чьи усталые глаза
стоят в углу, как образа?
И не флиртуют, не манят —
они отчаяньем кричат.

Что им мерещится в фигурке
между танцующих фигур?

И как помада на окурках,
на смятых пальцах
маникюр.

1967

Бальс при свечах

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при Всегда,

прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда,

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи всё свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

Зеленые в ночах
такси без седока.
Залетные на час,
останьтесь навсегда...

1967

Лодка на берегу

Над лодкой перевернутою, ночью,
над днищем алюминиевым туга,
гимнастка, изгибая позвоночник,
изображает ручку утюга!

В сиянье моря северно-янтарном
хохочет, в днище впаяна, дыша,
кусачка, полукривочка, кентаврка,
ах, полулодка и полудитя...

Полуморская-полугородская,
в ней полуполоумнейший расчет,
полутоскует — как полуласкает,
полуутопит — как полуспасет.

Сейчас она стремглав перевернется.
Полузвереныш, уплывет — вернется,
по пальцы утопая в бережок...

Ужо тебе, оживший утюжок!

1967

* * *

СКОЛЬКО СВИНЦОВОГО
яда влито,
СКОЛЬКО ЧУГУННЫХ
лжей...
Мое лицо
никак не выжмет
штангу
ушей...
1968

Языки

«Кто вызывал меня?

Аз язык...»

...Ах, это было, как в сочельник! В полумраке собора алым языком извивался кардинал. Пред ним, как онемевший хор, тремя рядами разинутых ртов замерла паства, ожидая просвирок.

Пасть негра-банкира была разинута, как галоша на красной подкладке.

«Мы — языки...»

Наконец-то я узрел их.

Из разъятых зубов, как никелированные застежки на «молниях», из-под напудрен-

ных юбочек усов, изнывая, вываливались алые лизаки.

У, сонное зевало, с белой просвиркой, белевшей, как запонка на замшевой подушечке.

У, лебезенок школьника, словно промокашка с лиловой кляксой и наоборотным отпечатком цифр.

У, лизоблуды...

Над едалом сластены, из которого, как из кита, били нетерпеливые фонтанчики, порхал куплет:

«Продавщица, точно Ева,—
ящик яблочек — налево!»

Два оратора перед дискуссией смазывали свои длинные, как лыжи с желобками посередине, мазью для скольжения, у бюрократа он был проштемпелеван лиловыми чернилами, будто мясо на рынке.

У, языки клеветников, как перцы, фаршированные пакостями, они язвивались и яздваивались на конце, как черные фраки или мокрицы.

У одного язвило набухло, словно лиловая картофелина в сырой темноте подземелья. Белыми стрелами из него произрастали сплетни. Ядило этот был короче других языков. Его, видно, ухватили однажды за клевету, но он отбросил кончик, как ящерица отбрасывает хвост. Отрос снова!

Мимо черт нес в ад двух критиков, взяв их, как зайца за уши, за их ядовитые язоилы.

Поистине не на трех китах, а на трех языках, как чугунный горшок на костре, закипает мир.

...И нашла тьма-тьмущая языков, и смешались речи несметные и рухнул Вавилон...

По тротуарам под 35 градусов летели замерзшие фигуры, вцепившись зубами в упругие облачка пара изо рта, будто в воздушные шары.

У некоторых на облачках, как в комиксах, были написаны мысли и афоризмы.

А у постового пар был статичен и имел форму плотной белой гусиной ноги. Будто он держал ее во рту за косточку.

Языки прятались за зубами — чтобы не отморозиться.

Морская песенка

Я в географии слабак,
но, как на заповедь,
орисптируюсь на знак —
Востоко-запад.

Ведь тот же огненный желток,
что скрылся за борт,
он одному сейчас — Восток,
другому — Запад.

Ты целовался до утра.
А кто-то запил.
Тебе — пришла, ему — ушла.
Востоко-запад.

Опять Букашкину везет.
Ползет потея.

Не понимает, что тот взлет —
его паденье.

А ты, художник, сам себе
Востоко-запад.

Крути орбиты в серебре,
чтоб мир не зябнул.

Пускай судачат про твои
паденья, взлеты —
нерукотворное твори.
Жми обороты.

Страшись, художник, подлипал
и страхов ложных,
Работай. Ты их всех хлебал
большою ложкой.

Солнце за морскую линию
удаляется, дурачась,
своей нижней половиною
вылезая в Гондурасах.

1967

Забастовка стриптиза

Стриптиз бастует! Стриптиз бастует!
Над мостовыми канкан лютует.

Грядут бастующие — в тулупах, джинсах.
«Черта в ступе!

Не обнажимся!»

Эксплуататоров теснят, отбрехиваясь.
Что там блеснуло?

Держи штрейкбрехершу!

Под паранджою чинарь запаливают,
а та на рожу чулок напяливает.

«Пойдем поэзим,
на Венеру надели
синенький халатик в горошек, с коротенькими
рукавами!..»

Мир юркнул в раковину.

Бабочки, сложив крылышки, бешено

заматывались в куколки.

Церковный догматик заклеивал тряпочками
нагие чресла Сикстинской капеллы,

штопором он пытался

вытащить пуп из микеланджеловского

Адама.

Первому человеку пуп не положен!

Весна бастует. Бастуют завязи.

Спустился четкий железный

занавес.

Бастует там истина.

Нагая издавна,

она не издана, а если издана,

то в ста обложках под фразой фиговой —
попробуй выковырь!

Земля покрыта асфальтом города.

Мир хочет голого,

голого,

голого.

У мира дьявольский аппетит.

Стриптиз бастует. Он победит!

Сан-Франциско — Коломенское...

Сан-Франциско — это Коломенское.
Это свет посреди холма.
Высота, как глоток колодезный,
холодна.

Я люблю тебя, Сан-Франциско;
испаряются надо мной
перепончатые фронтисписы,
переполненные высотой.

Вечерами кубы парившие
наполняются голубым,
как просвечивающие курильщики
тянут красный, тревожный дым.

Это вырезанное из неба
и приколотое к мостам
угрызение за измену
моим юношеским мечтам.

Моя юность архитектурная,
прикурю об огни твои,
сжавши губы на высшем уровне,
побледневшие от любви.

Как обувка возле отеля,
лимузины столпились в ряд,
будто ангелы отлетели,
лишь галоши от них стоят.

Мы — не ангелы. Черт акцизный
шлепнул визу — и хоть бы хны...
Ты вздохни по мне, Сан-Франциско.
Ты, Коломенское,
вздыхни...

1967

Осеннее вступление

Развяжи мне язык, Муза огненных азбучищ.
Время рев испытать.

Развяжи мне язык,

как осенние вязы

развязываешь

в листопад.

Развяжи мне язык — как снимают ботинок,
чтоб ранимую землю осязать босиком,
как гигантское небо

эпохи Батия

сковородку Земли,

обжигаясь,

берет языком.

Освежи мне язык, современная муза.
Водку из холодильника в рот наберя,
напоила щекотно,

морозно и узко!

Вкус рябины и русского словаря.

Онемевшие залы я бросал тебе под ноги вазами,
оставляя заик,
как у девки отчаянной,

были трубы мои

перевязаны.

Разреши меня словом. Развяжи мне язык.

И никто не знал, как в душевной изжоге
обдирался я в клочья —

вам виделся бзик?

Думал — вдруг прозревают от шока!

Развяжи мне язык.

Время рева зверей. Время линьки архаров.
Архаическим ревом

взрывая кадык,

не латинское «Август», а древнее «Зарев» *,
озари мне язык.

Зарев

заваленных базаров, грузовиков,
зарев разруганных от плиты хозяек,
зарев,

когда чащи тяжелы и пузаты,

а воздух над полем вздрагивает, как поздри,

в предвкушении перемен,

когда звери воют в сладкой тревоге,

* З а р е в — по-древнеславянски Август.

зарев,
когда видно от Москвы до Хабаровска
и от костров картофельной ботвы до костров Батыя,

зарев,
когда в левом верхнем углу жемчужно-витиеватой
березы

замерла белка,
алая, как заглавная буква
Ипатьевской летописи.

Ах, Зарев,
дай мне откусить твоего запева!

Заревает история.

Зарев тура, по сердцухвати.

И в слезах, обернувшись, над трупом Сахары,
львы ревут,
как шесты микрофонов,
воздев вертикально
с помпушкой хвосты —

Зарев!

Мы лесам соплеменны,
в нас поют перемены.
Что-то в нас созревает.
Человек заревает.

Паутинки летят. Так линияет пространство.
Тянет за реку.
Чтобы голос обрести — надо крупно расстаться,
зарев,
зарев — значит «прощай!», зарев — значит
«да здравствует
завтра!»

Как горящая пакля, на сучках ключья волчьи и
песьи.

Звери платят ясак за провидческий рык.
Шкурой платят за песню.
Развяжи мне язык.

Я одет поверх куртки
в квартиру с коридорами-рукавами,
где из почтового ящика,
как платок из кармана,
газета торчит,
сверху дом,
как боярская шуба
каменными мехами.—
развяжи мне язык.

Ах, мое ремесло — самобытное? нет, самопытное!
Оббиваясь о стены, во сне, наяву,
ты пытай меня, Время, пока тебе слово не выдам.
Дай мне дыбу любую. Пока не взреву.

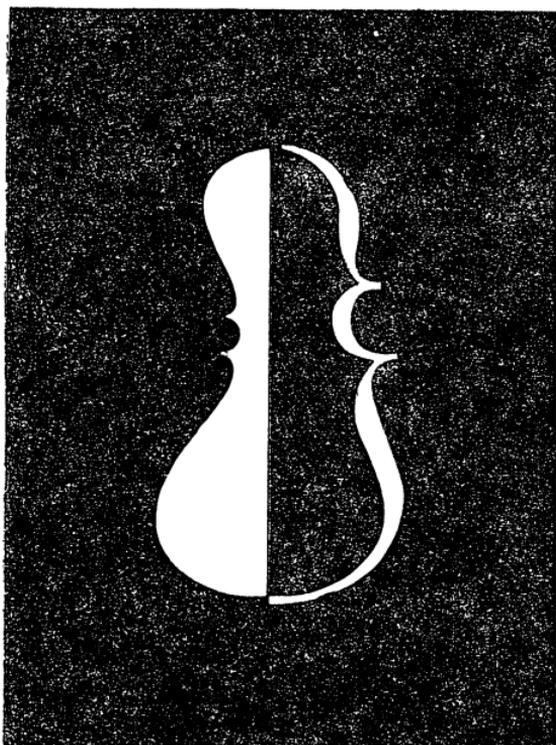
Зарев новых словес. Зарев зрелых предчувствий,
революций и рас.
Зарев первой печурки,
красным бликом змеясь...
Запах снега
Пречистый,
изменяющий нас.

*

Человечьи кричит на шоссе
белка, крашенная, как в Вятке,—
алюминиевая уже,
только алые морда и лапки.

Лег-69

*Памяти Светланы Поповой,
студентки 2-го курса МГУ*



Заплатка перед поэмой

**«Заря Марья, заря Дарья, заря Катерина»,
свеча талая,**

свеча краткая,

свеча стеариновая,

**медицина — лишнее, чуда жду,
отдышите лыжницу в кольском льду!**

**Вифлеемские метеориты,
звезда Марса,**

**звезда исторического материализма,
сделайте уступочку, хотя б одну —
отпустите доченьку в кольском льду!**

Она и не жила еще по-настоящему...

Заря Анна,

лес Александр,

сад Афанасий,

вы учили чуду, а чуда нет —

оживите лыжницу двадцати лет!

И пес воет: «Мне, псу, плохо...

Звезда Альма,

звезда Гончих псов,

звезда Кабысдоха,

отыщите лыжницу, сделайте живой,

все мне голос слышится: «Джой! Джой!»

Что ж ты дрессировала

бегать рядом с тобой?

Сквозь бульвар сыроватый

я бегу с пустотой.

Носит мать, обревевшись,

куда-то цветы.

Я ж, единственный, верю,

что зовешь меня ты.

Нет тебя в коридоре,

нету в парке пустом,

на холме тебя нету,

нет тебя за холмом.

Как цветы окаянные,

ночью пахнет тобой

красный бархат дивана

и от ручки дверной!»

Пролог

**«На антарктической метстанции
нам дали в дар американцы
куб, брызнувший иллюминацией,—
«Лед 1917-й»!**

**Ошеломительно чертовски
похолодевшим пищеводом
хватить согретый на спиртовке
глоток семнадцатого года!**

**Уходит время и стареет,
но над планетою, гудя,
как стопка вымытых тарелок,
растут ледовые года».**

**Все это вспомнил я, когда
по холодильнику спецльда
меня вела экскурсовод,
студентка с личиком калмычки,
волнуясь, свитерок колыша.
И вызывала нужный год,
как вызывают лифт отмычкой.**

Льдина первая

Лед! —

Страшон набор карандашный —
год черный и красный год,

— *лед, лед* —

лед тыща девятьсот кронштадтский,
шахматный, в дырах лед!

— *лед, лед, лед* —

лед тыща семьсот трефовый
от врытых по пояс мятежников,

— *лед, лед, лед, лед* —

лед тыща девятьсот блефовый
невылупившихся подснежников,

— *лед, лед, лед, лед, лед* —

июньский сорок проклятый,

гильзовая коррозия,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед —
лед статуи генерала,
облитого водой на морозе!
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
лед тыща девятьсот зеленый,
грибной, богатый,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
лед тыща девятьсот соленый
от крови с сапог поганых,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
лед тыща восемьсот звенящий,
трехцветный, драгунский,
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
в соломе потелый ящик —
лед тыща шестьсот Бургунский!
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
лед тыща семьсот паркетный,
России ледовый сон,
— лед, лед —
и малахитовых колонн
штаны зеленые, вельветовые
(книзу расширенный фасон)!
«И чуть-чуть вздутые на коленях»,—

добавила экскурсовод.

— лед, лед.
Лед тыща триста фиолетовый,
шелк католических сутан
— лед, лед
Меч хладный, потом согретый,
где не дыша лежат валетом:
Изольда, меч, Тристан.
И жгут соловьи отпетые —

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, —
чтоб лед растопить и лечь:

Изольда, Тристан, меч.

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

«**Ау, — скажу я, — друг мой тайный,**

в году качаешься хрустальном,

дыханье одуванчиком храня...»

Ну тут экскурсовод меня

одернула и покраснела

и продолжала пояснения:

«Дыханье сонное народов

и испаренья суеты

осядут, взмыв до небосвода,

и образуют льды.

И взвешивают наши вины

на белоснежной широте,

как гирьки черные, пингвины,

откашливая ДДТ.

Лед цепкой памятью наслоен.

Лишь 69-й сломан».

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

туманный, как в трубе подзорной,

год тыща сколько-то позорный

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, —

И неоплаченной цены

лед неотпущенной вины

— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Рыбачков ледовое попойще,

и по уши

мальчонка в проруби орет:

«Живой я!»

— лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Ты вздрогнула, экскурсовод?

Поводырек мой, бука, муза,
архангелок с жаргоном вуза,
мы с нею провели века.
Она каким-то гнетом груза
томилаь, но была легка
в бесплотной солнечной печали,
как будто родинки витали
просто в луче. Ее движенья
совсем не оставляли тени.
Кретин! Какая тень на льду?
Иду.

До дна промерзшая Лета.
Консервированная История.
Род человечесий в брикетах.
Касторовый
лед, смерзшийся помоями.
В нем тонущий. (Подлец, по-моему.)
«Бог помощь!» — скорбно я изрек.
Но побледневши: «Помощь — бог», —
поправила экскурсовод.

Лед

тыща девятьсот сорок распадный.
Полет. Полет. Полет. Полет. Полет.
И в баре бледный пилот:
«Без льда, — кричит, — не надо, падло!»
Он завтра в монастырь уйдет.
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —
Прозрачно, как анис червивый,
замерзший бюрократ в чернильнице
— лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед —

Искусственный

горячий лед пустых дискуссий.

— *лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед* —

Лед тыща девятьсот шестьдесят пятый,

все в синих болоньях красивые,

в троллейбусы целлофановые вмяты,

как свежемороженые сливы.

— *лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед* —

Зеркало мод.

Камзол. Парик. Колготки. Шлейф кокетки.

Зад скрыт, а бюст — наоборот.

Год, может, девятьсот какой-то?

А может — тыща восемьсот!

— *лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед* —

Льдина вторая

Лед тыща девятьсот хоккейный.

Фирс — гений!

Игра «кто больше не забудет».

Счет (—3) : (—18).

Вратарь елозит на коленях

с воротами, как с сетчатым сачком,

за шайбочкой. А та — бочком, бочком!

Класс!

В глаз. В рот. Пасс. Бьет! Гол!! Спас!!! Ас. Ась?

Финт. Счет? Вбит. В лед.

— *лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед, лед* —

**Захлопала экскурсовод
и ключик выронила. Ой!**

Я поднял (В шестьдесят девятый
летели лыжники, как ватой,
объята Кольскою зимой.)
Она повисла на запястье:
«Я вас прошу! Там нет запчасти...
Не нажимайте! В этом марте...»
Но поздно. Я нажал. Она
разжала пальцы: «Вновь вина
и снова — ваша», — сказанула
и в лед, как ящерка, скользнула.

(Сквозь экран в метель летели лыжники,
вот одна отбилась в шапке рыженькой.
Оглянулась. Снегом закрутило
личико калмыцкое ее.)
Господи! Да это ж Катеринка!
Катеринка, преступление мое.
Потерялась, потерялась Катеринка!
Во поле, калачиком, ничком.
Бросившие женщину мужчины
дома пробавляются чайком.

Оступилась, ты в ручей проваливаешься.
Валенки во льду, как валуны.
Катеринка, стригунок, бравадочка,
не спасли тебя «Антимиры»!

Спутник тебя волоком шарашит.
Но кругом метель и гололедь.
Друг из друга сделавши шалашик,
чтобы не заснуть и обогреть,

ты стихи читаешь, Катеринка.
Мы с тобой считали: «Слово — бог».
«Апельсины, — шепчешь, — апельсины...»
Что за бог, когда он не помог!

Я слагал кощунственно и истово
этих слов набор.
Неотложней мировые истины:
«Помощь». «Товарищи». «Костер».
И еще четвертая: «Мерзавцы».
Только это все равно уже тебе.
Задышала. Замерла. Позамерзает
строчка Мэрлин на обманутой губе.

.
Вот и все. Осталась фотокарточка.
С просьбою в глазу.
От которой, коридором крадучись,
я остаток жизни прохожу.

Эпилог

Утром вышла девчонкой из дому,
а вернулась рощею, травой.
По живому топчем, по живому —
по живой!

Вскрикнет тополь под ножом знакомо —
по живому!

По тебе, выходит, бьют патроны,
тебя травят химией в затонах,
от нее, сестра твоя и ровня,
речка извивается жаровней.

Сжалась церковь под железным ломом —
по живому,
жгут для съемок рыжую корову,
как с глазами синими солону, —
по живому!

Мучат не пейзажную картинку —
мучат человека, Катеринку.

«Лес, пусти ее хоть к маме на каникулы!» —
«Ну, а вы детей моих умыкивали?
Сами режут рощу уголовно,
как под сердце жеребенку луговому —
по живому!»

Плачет мое слово по-земному,
по живому, по еще живому.

*

Есть холмик за оградой Востряковской,
над ним портрет в кладбищенском лесу.
Спугнувши с фотографии стрекозку,
тетрадку на могилу положу.

Шевелит ветер белыми листьями,
как будто наклонившаяся ты —
не Катеринка, а уже Светлана —
мои листаешь нищие листы.
Листай же мою жизнь, не уповай
на зряшные жестяные слова...
Вдруг на минутку, где строка жилая, —
ты тоже вдруг становишься жива.

**И говоришь, колясь в щеку шерстинкой,
остриженная моя сестричка,
ты говоришь: «Раз поздно оживить,
скажи про жизнь, где свежесть ежевик,
отец и мама — как им с непривычки?
Где Джой прислушивается к электричке,
не верит, псина. Ждет шагов моих».
И трогаешь последнюю страничку
моей тетрадки. Кончился дневник.**

★

**Светлана Борисовна, мама Светланы,
из Джоиной шерсти мне шапку связала,**

**связала из горечи и из кручины,
такую ж, как дочери перед кончиной.**

**Нить левой сучила, а правой срезала,
того, что случилось, назад не связала...**

**Когда примеряла, глаза отвела.
Всего и сказала: «Не тяжела?»**

Ледовый эпилог

Лед, лед растет неоплатимо,
вину всеобщую копя.
Однажды прорванный плотиной
лед выйдет из себя!
Вина людей перед природой,
возмездие вины иной,
Дахау дымные зевоты
и капля девочки одной
и социальные невзгоды
сомкнут над головою воды —
не Ной,
не божий суд, а самосуд,
все, что надышано, накоплено,
вселенским двинется потопом.
Ничьи молитвы не спасут.

**Вы захлебнетесь, как котята,
в свидетельствовании нечистот,
вы, деятели, коптящие
незащищенный небосвод!**

**Вы, жалкою толпой обслуживающие
свободы, гения и славы
патронов,
палачи,
лед тронется
по-апокалиптически!**

**Увы, надменные подонки,
куда вы скроетесь, когда
потопом
сплощит ваши города?!**

**Сполоснутые отечества,
сполоснутый балабол,
сполоснутое человечество.
Сполоснутое собой!**

**И мессиански и судейски
по возмутившимся годам
двадцатилетняя студентка
пройдет спокойно по водам.**

**Не замочивши лыжных корочек,
последний обойдет пригорочек
и поцелует, как детей,
то, что звалось «Земля людей».**

P. S.

«...Человек не имеет права освобождать себя от ответственности за что-то. И тут на помощь приходит Искусство... Да, Искусство с его поисками Красоты, потому что Красота эта всегда добро, всегда справедливость. Красота не только произведение искусства, природы, но и красота жизни, поступков. Меня и биология интересует больше с гуманитарно-философской точки зрения».

(Из сочинения Светланы Поповой)

P. P. S.

**На асфальт растаявшего пригорода
сбросивши пальто и буквари,
девочка**

в хрустальном шаре

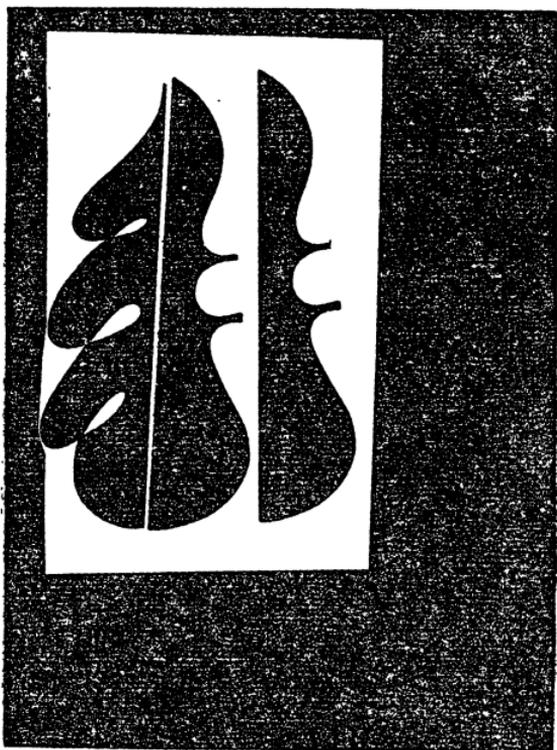
прыгалок

тихо отделилась от земли.

**Я прошу шершавый шар планеты,
чтобы не разрушил, не пронзил
детство обособленное это,
новой жизни**

радужный пузырь!

Трагедия



Плач по двум нерожденным поэмам

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!

Хороним.

Хороним поэмы. Вход всем посторонним.

Хороним.

На черной Вселенной любовниками

отравленными

лежат две поэмы,

как белый бинокль театральный.

Две жизни прижались судьбой половинной —

две самых поэмы моих

соловьиных!

Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались
в Останкине,—

встаньте!
Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии,—
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.

Раскройте, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы встаньте —
Сервантес, Борис Леонидович,
Браманте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.

И вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.

Вы встаньте в Сибири,
 в Москве,
 в городишках,
 мы столько убили
 в себе,
 не родивши,
 встаньте,
 Ландау, погибший в косом лаборанте,
 встаньте,
 Коперник, погибший в Ландау галантном,
 встаньте,
 вы, девка в джаз-банде,
 вы помните школьные банты?
 встаньте,

геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
 встаньте
 (я не о кастратах — о самоубийцах,
 кто саморастратил
 святые крупичицы),
 встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
 панике —
 «Вечная память!»
 Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
 в Атлантике плавать,
 вечная память,
 громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный
 Гамлет?
 вечная память,
 где принц ваш, бабуся? А девственность
 можно хоть в рамку обрамить,
 вечная память,

зеленые замыслы, встаньте как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
вечная память!..

Аминь.

Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже

не поправить.

Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь

потраву,—

Вечная слава!
Вечная слава!

1965

Монолог актера

Провала прошу, провала.
Гаси ж!
Чтоб публика бушевала
и рвала в клочки кассирш.

Чтоб трусиками, в примерочной
меня перематюгав,
зареванная премьерша
гуляла бы по щекам!

Мне негодование дорого.
Пусть в рожу бы мне исторг
все сгнившие помидоры
восторженный Овощторг!

Да здравствует неудача!
Мне из ночных глубин
открылось — что вам не маячило.
Я это в себе убил.

Как школьница после аборта,
пустой и притихший весь,
люблю тоскою аортовой
мою нерожденную вещь.

Прости меня, жизнь.
Мы — гости,
где хлеб и то не у всех,
когда земле твоей горестно,
позорно иметь успех.

Вы счастливы ль, тридцатилетняя,
в четвертом ряду скорбя?
Все беды, как артиллерию,
я вызову на себя.

Провала прошу, аварии.
Будьте ко мне добры.
И пусть со мною
провалятся
все беды в тартарары.

1965

* * *

Мы — кочевые,
мы — кочевые,
мы, очевидно,
сегодня чудом переночуем,
а там — увидим!

Квартиры наши конспиративны,
как в спиритизме,
чужие стены гудят как храмы,
чужие драмы,

со стен пожаром холсты и схимники...
а ну пошарим —
что в холодильнике?

Не нас заждался на кухне газ,
и к телефонам зовут не нас,

наиродное среди чужого,
и как ожоги,

чьи поцелуи горят во тьме,
еще не выветрившиеся вполне?..

Милая, милая, что с тобой?
Мы эмигрировали в край чужой,

ну что за город, глухой, как чушки,
где прячут чувства?

Позорно пузо растить чинуше —
но почему же,

когда мы рядом, когда нам здорово —
что ж тут позорного?

Опасно с кафедр нести напраслину —
что ж в нас опасного?

не мы опасны, а вы лабазны,
людье,

 которым любовь
 опасна!

Опротивели, конспиративные!..
Поджечь обои? вспороть картины?
об стены треснуть
 сервиз, съезжая?..

«Не трожь тарелку — она чужая».

1964

Замерли

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.

В моих порах

стрижами заплещутся
души пойманные твои!

Все становится тайное явным.

Неужели под свистопад,
разомкнемся немым изваяньем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!

Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

* * *

Благословенна лень, томительнейший плен,
когда проснуться лень и сну отдаться лень,

лень к телефону встать, и ты через меня
дотянешься к нему, переутомлена,

рождающийся звук в тебе как колокольчик
и диафрагмою мое плечо щекочет.

«Билеты? — скажешь ты. — Пусть пропадают. Лень».
Томительнейший день в нас переходит в тень.

Лень — двигатель прогресса. Ключ к Диогену — лень.
Я знаю, ты — прелестна! Все остальное — тлен.

Вселенная горит? до завтраго потерпит!
Лень телеграмму взять — заткните под портьеру.

Лень ужинать идти. Лень выключить «трень-брень»,
Лень.

И лень окончить мысль. Сегодня воскресень...

Колхозник на дороге
разлегся под шефе
сатиром козлоногим,
босой и в галифе.

1965

* * *

Матери сиротеют.
Дети их покидают.
Ты мой ребенок,

мама,
брошенный мой ребенок.

1965

была пора завязей,
когда чудо зарождения,
высвобождаясь из тычинок, пестиков,
ресниц,
разминается в воздухе.

Дальше ничего не помню.

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
телу яблоневу от тебя тяжелеть.

Как ревную я к стонущему стволу.
Ночью нож занесу, но бессильно стою —
на меня, точно фары из гаража,
мчатся
яблоневые глаза!

Их 19.

Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.

Они раздвигают кожу, как дупла.

Другие восемь узко растут из листьев.
В них ненависть, боль, недоумение —
что?

что?

что свершается под корой?
кожу жжет тебе известь?

кружит тебя кровь?

Дегтем, дегтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как
соседки в белых передниках. Ишь...

Так сидит старшеклассница меж подружек, бледна,
чем полна большеглазо —

не расскажет она.

Похудевшая тайна. Что же произошло?
Пахнут ночи миндально.

Невозможно светло,
Или тигр-людоед так тоскует, багров.
Нас зовет к невозможнейшему любовь!
А бывает, проснешься — в тебе звездопад,
тополиные мысли, и листья шумят.

По генетике

у меня четверка была.
Люди — это память наследственности.
В нас, как муравьи в банке,
напиханно шевелятся тысячелетия.
У меня в пятке щекочет Людовик XIV,
Но это?..
Чтобы память нервов мешалась с хлорофиллами?
Или это биочудо?

Где живут дево-деревья?

Как женщины пахнут яблоком!..

...А 30-го стало ей неважно.
Ночью сбросила кожу, открыв наготу,

врыта в почву по пояс,
смертельно орет

и зовет
удаляющийся
самолет.

1965

Из закарпатского дневника

Я служил в листке дивизиона.
Польза от меня дискуссионна.
Я вел письма, правил опечатки.
Кто только в газету не писал
(графоманы, воины, девчата,
отставной начпрод Нравоучатов) —
я всему признательно внимал.
Мне писалось. Начались ученья.
Мчались дни.
Получились строчки о Шевченко,
Опубликовали. Вот они:

Сквозь строй

И снится страшный сон Тарасу.
Кушищем воющего мяса
сквозь толпы, улицы,
гримасы,

сквозь жизнь, под барабанный вой,
сквозь строй ведут его, сквозь строй!
Ведут под коллективный вой:
«Кто плохо бьет — самих сквозь строй».

Спиной он чувствует удары:
Правофланговый бьет удало.
Друзей усердных слышит глас:
«Прости, старик, не мы — так нас».

За что ты бьешь, дурак господен?
За то, что век твой безысходен!
Жена родила дурачка.
Кругом долги. И жизнь тяжка.

А ты за что, царек отечный?
За веру, что ли, за отечество?
За то, что перепил, видать?
И со страной не совладать?

А вы, эстет, в салонах куксясь?
(Шпицрутен в правой, в левой — кукиш.)
За что вы столковались с ними?
Что смел я то, что вам не снилось?

«Я понимаю ваши боли,—
сквозь сон он думал,— мелкота,
мне не простите никогда,
что вы бездарны и убоги,
вопит на снеговых заносах,
как сердце раненой страны,
мое в ударах и занозах
мясное
месиво
спины!

Все ваши боли вымещая,
эпохой сплюснутых калек,
люблю вас, люди, и прощаю.
Тебя я не прощаю, век.
Я верю — в будущем, потом...»

.
Удар. В лицо сапог. Подъем.

1963—1965

Зов озера

Памяти жертв фашизма

**Певзнер 1903, Сергеев 1934, Лебедев 1916, Бирман 1938,
Бирман 1941, Дробот 1907...**

**Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.**

**Гражданин в пиджачке гороховом
зывает на славный клев,**

только кровь
на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу, — говорит Володька, —
а по рылу — могу,
это вроде как
не укладывается в мозгу!

Я живую водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай ее ладонью —
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...»

«Не могу, — говорит Володька, —
лишь зажмурюсь —
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!»

Третью ночь как Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва,
И к нему
Является
Рыба
Чудо-юдо озерных вод!

*«Рыба,
летучая рыба,
с огненным лицом мадонны,
с плавниками белыми
как свистят паровозы,
рыба,
Рива тебя звали,
золотая Рива,
Ривка, либо как-нибудь еще,
с обрывком
колючки проволоки или рыболовным крючком
в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
прости меня, прокляни, но что-нибудь ответь...»*

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.

Измученнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

Лебедев 1916, Бирман 1941, Румер 1902, Бойко оба 1933.

1965

Песенка трагести из спектакля «Антимиры»

Стоял Январь, не то Февраль,
какой-то чортовый Зимарь.

Я помню только голосок
над красным ротиком — парок

и песенку:

«Летят вдали
красивые осенебри,

но если наземь упадут,
их человолки загрызут...»

1963

Лейтенант Загорин

Я во Львове. Служу на сборах,
в красных кронах, лепных соборах.
Там столкнулся с судьбой моей
лейтенант Загорин. Андрей.

*(Странно... Даже Андрей Андреевич, 1933.
174. Сапог 42. Он дал мне свою гимнастерку.
Она сомкнулась на моей груди тугая, как
кожа тополя. И внезапно над моей головой
зашумела чужая жизнь, судьба, как
шумят кроны...*

«Странно»,— подумал я...

Ночь.

Мешая Маркса с Авиценной,

спирт с вином, с луной Целиноград,
о России

рубят офицеры.

А Загорин мой — зеленоглаз!

Ах, Загорин, помнишь наши споры?

Ночь плыла.

Женщина, сближая нас и ссоря,
стройно изгибалась у стола.

И как ффары огненные манят —

из его цыганского лица

вылетал сжигающий румянец

декабриста или чернеца.

Так же, может, Лермонтов и Пестель,

как и вы, сидели, лейтенант,

Смысл России

исключает бездарь.

Тухачевский ставил на талант.

Если чей-то череп застил свет,

вы навывлет прошибали череп

и в свободу

глядели

через —

как глядят в смотровую щель!

Но и вас сносило наземь, косо,

сжав коня кусачками рейтуз.

«Ах, поручик, биты ваши козыри».

«Крюю сердцем — это пятый туз!»

Огненное офицерство!

Сердце — ваш бесприогрышный бой.

Амбразуры закрывает сердце.
Гибнет от булавки
болевой.

На балкон мы вышли.

Внизу шумел Львов.

*Он рассказал мне свою историю. У каждого
офицера есть своя история. В этой была
женщина и лифт.*

«Странно», — подумал я...

1965

Баллада-диссертация

Нос растет в течение всей жизни,

Из научных источников

Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но Ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз»,

О нос!..

Неотвратимы, как часы,
у нас, у вас, у капуцинов
по всем

законам

Медицины
торжественно растут носы!

Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
щемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!
(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чуял Гоголь.)

Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:
подобно шпилью,
сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,
над ним
рос
нос,
как чеки в булочной,
нанизывая этажи!

«К чему б?» — гадал он поутру.
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»

30-го Букашкин сел.

О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее — жизнь короче.

На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,

и говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...

Но это нам не привилось,

1963

Сообщающийся эскиз

Мы как сосуды
 налиты синим,
 зеленым, карим,
друг в друга сутью,
 что в нас носили,
 перетекаем.
Ты станешь синей,
 я стану карим,
 а мы с тобою
непрерывно переливаемы
 из нас — в другое.
В какие ночи,
 какие виды,
 чьих астрономическ?

Не остановишь —
остановите! —
не остановишь,
Текут дороги,
как тесто город,
дома текучи,
и чьи-то уши
текут как хобот.
А дальше — хуже!
А дальше...

Все течет. Все изменяется.
Одно переходит в другое.

Квадраты расплзаются в эллипсы.

Никелированные спинки кроватей текут, как разварившиеся макароны. Решетки тюрем свисают, как кренделя или аксельбанты.

Генри Мур, краснощекий английский ваятель, носился по бильярдному сукну своих подстриженных газонов.

Как шары блистали скульптуры, но они то расплывались как флюс, то принимали изящные очертания тазобедренных суставов.

«Остановитесь! — вопил Мур. — Вы прекрасны!..» —
Не останавливались.

По улицам проплыла стайка улыбок.

На мировой арене, обнявшись, пыхтели два борца.
Черный и оранжевый. Их груди слиплись. Они стояли,
походя сбоку на плоскогубцы, поставленные на попа.

Но-о ужас! На оранжевой спине угрожающие проступили черные пятна.

Просачивание началось. Изловчившись, оранжевый крутил ухо соперника и сам выл от боли — это было его собственное ухо.

Оно перетекло к противнику.

Букашкина выпустили.

Он вернулся было в бухгалтерию, но не смог ее обнаружить, она, реорганизуясь, принимала новые формы.

Дома он не нашел спичек. Спустился ниже этажом. Одолжить.

В чужой постели колыхалась мадам Букашкина. «Ты как здесь?» «Сама не знаю — наверно, протекла через потолок». Вероятно, это было правдой. Потому, что на ее разомлевшей коже, как на разогревшемся асфальте, отпечаталась чья-то пятерня с перстнем. И почему-то ступня.

Вождь племени Игого-жо искал новые формы перехода от феодализма к капитализму.

Все текло вниз, к одному уровню, уровню моря.

Обезумевший скульптор носился, лепил, придавая предметам одному ему понятные идеальные очертания, но едва вещи освобождались от его пальцев, как они возвращались к прежним формам, подобно тому, как расправляются грелки или резиновые шарики клизмы.

Лифт стоял вертикально над половодъемом, как ферма по колено в воде.

«Вверх — вниз!»

Он вздымался, как помпа насоса,

«Вверх — вниз».

Он перекачивал кровь планеты.

«Прячьте спички в местах, недоступных детям».
Но места переместились и стали доступными,
«Вверх — вниз»,

Фразы бессильны. Слова слиплись в одну фразу.
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
«Оаыу аоии оааоиаые!..»
Это уже кричу я.
Меня будят. Суют под мышку ледяной градусник.
Я с ужасом гляжу на потолок.
Он квадратный.

1965

Футбольное

Левый крайний!

Самый тощий в душевой,
Самый страшный на штрафной,
Бито стекло — боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов,
Блещет попкой из трусов
Левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
Прожигательным стеклом
Над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном,
Он сипит, как сто сифонов,
Ста медалями увенчан,
Стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,
Ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,

мяч,

мяч,

Только — вмажь,

вмажь,

вмажь!

«Наши — ваши» — к богу в рай...

Ай!

Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.
Солнце черной сковородкой.
Ты уходишь, как горбун,
Под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
С ног срезаются мячи.
И под краном
Ты повинный чубчик мочишь,
Ты горюешь и
бормочешь:

«А ударчик — самый сок,
Прямо в верхний уголок!»

1962

Римские праздники

В Риме есть обычай в Новый год выбрасывать на улицу старые вещи.

Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел!

Не грусти — не пропадем.
Образуется потом.

Мы летим, как с веток яблоки.
Опротивела грызня.
Но я затем живу хотя бы,
чтоб средь ветреного дня,
детектив глотнувши залпом,
в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
 без меня...

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как пыленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет — свистуном?
Или черной, как грачонок,
сбитый атомным огнем?

Мне бы только этим милым
не случилось непогод...
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами
 сквозь абажуры
светят женские тела.

1963

* * *

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас может быть четверо.
Несемся в машине как черти.
Оранжеволоса шоферша.
И куртка по локоть — для ффрса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
пездешняя ангел на вид,
хорош твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда, выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!
права у меня отобрали..»

Понимаешь, пришили превышение
 скорости в возбужденном состоянии.

А шла я вроде нормально...»

Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант нас, конечно, мудрей,
по нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей,

Обязанности поэта
не знать километроминут,
брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют,

За эти года световые
пускай мы исчезнем, лучась,
пусть некому приз получать.
Мы выжали скорость впервые,

Жми, Белка, божественный кореш!
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственнойшая из скоростей!

Что нам впереди предначертано?
Нас мало. Нас может быть четверо,
Мы мчимся —

 а ты божество!

И все-таки нас большинство,

Прощание с Политехническим

Большой аудитории посвящаю

**В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу ффары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!**

**Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане мешали встретиться!**

Ура, вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.

Я вас люблю!

Чему смеетесь? Над чем всплакнете?
И что черкнете, косясь, в блокнотик?
Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —
другие.

Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться,

Я ненавидел тебя вначале.
Как ты расстреливал меня молчанием!
Я шел как смертник в притихшем зале.
Политехнический, мы враждовали!

Ах, как я сыпался! Как шла на помощь
записка искоркой электрической...
Политехнический,
ты это помнишь?
Мы расстаемся, Политехнический,

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь
со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —
моя Россия! —
ты очень бережен и добр, как бог,
лишь Маяковского не уберег...

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,

но где б я ни был — в земле, на Ганге, —
ко мне прислушивается

магически

гудящей

раковиною

гиганта

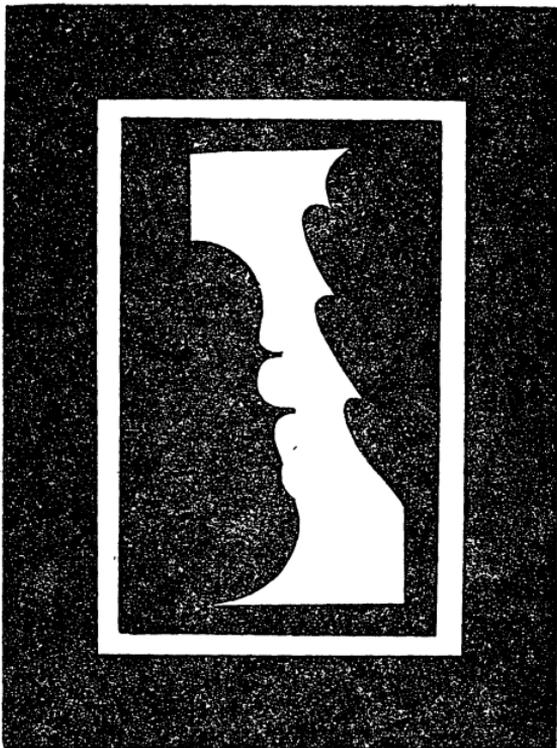
ухо

Политехнического!

1962

Оза

ТЕТРАДЬ, НАЙДЕННАЯ В ТУМБОЧКЕ ДУБНЕНСКОЙ ГОСТИНИЦЫ



* * *

**Аве, Оза. Ночь или жилье.
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание Твое.
Аве, Оза...**

**Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...**

**Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!**

**Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...**

**Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.**

**Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не беспокою.
Даже жизнью не отягощу.**

Аве, Оза...

II

**Женщина стоит у циклотрона —
стройно,**

**слушает замагниченно,
свет сквозь нее струится,
красный, как земляничинка,
в кончике у мизинца,**

**не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то,**

**тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками**

циклотрона 3-10-40.

**Я знаю, что люди состоят из атомов,
частиц, как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.**

**Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.**

**Говорили ей,— не ходи в зону!
а она**

**вздрагивает ноздрями,
празднично хорошея.
Жертво-ли-приношенье
Или она нас дразнит?**

**«Зоя,— кричу я,— Зоя!..»
Но она не слышит. Она ничего не
понимает.**

Может, ее называют Оза?

II

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая, изменяли очертания, как лампочки иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем же. И нос был на месте, только вставлен внутрь, точно полый чехол кинжала. Неумещающийся кончик торчал из затылка.

- Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада.
- Глубина колодца росла вверх, как черный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.
- Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх.)
- Ну и рокировка! На месте ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.
- Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие Батые.
- У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику: Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.
- У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога.
- «Счастливчик, — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».
- А эта требовала жалобную книгу: «Сердце забыли положить, сердце!» Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик Ё пел, пританцовывая.

«Е9-Д4,— бормотал экспериментщик.— О, таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции квазиискусства сохранял порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новому искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!») — торчала вверх на манер де-

сяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалиптический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, ее называют Оза?

III

**Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..**

**Почему-то под дулами,
наведенными снизу,**

**ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!**

**Твои миги сосчитаны
наведенным патроном,**

**30 метров озона —
вся броня и защита!**

**В том рассвете болотном,
где полет безутешен,
но пахнуло полетом,
и — уже не удержишь.**

**Дай мне, господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть ее
от прицела трясины.**

**Пусть еще погуляется
этой дуре рискованной,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.**

**Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?**

**От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду от пули.**

IV

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?

И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...

Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

**Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,**

**некогда думать, некогда,
в оффисы — как вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!**

**Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!**

**Ангел, об чем претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!**

**Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце, нам безработица.
В мире — роботизация.**

**Ужас! Мама,
роди меня обратно!..**

**Обратно — к истокам неслись реки.
Обратно — от финиша к старту задним
ходом неслись мотоциклисты.**

**Баобабы на глазах, худея, превращались в прутки
саженцев — обратно!**

Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев прожженную дырочку на рубашке, юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот, свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит, что человечество имеет обратный возраст. Оно идет от старости к молодости.

Хотя бы средневековье. Старость. Морщинистые стены инквизиции.

Потом Ренессанс — бабье лето человечества. Это как женщина, красивая, все познавшая, пирует среди зрелых плодов и тел.

Не будем перечислять надежд, измен, приключений XVIII века, задумчивой беременности XIX...

А начало XX века — бешеный ритм революции!.. Восемнадцатилетие командармов. «Мы — первая любовь земли...»

«Я думаю о будущем, — продолжает историк, — когда все мечты осуществляются. Техника в добрых руках добра. Бояться техники? Что же, назад в пещеру?..»

Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки.

V

А не махнуть ли на море?

VI

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям об Озе и величье бытия,
но внезапно черный ворон
вспыхнув синими очами,
примешался к разговорам,
он сказал:

«А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее трудиться
полпланеты раскря...»

Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты — великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»

Он сказал: «А на фига?!»

**«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холоя...»**

Он сказал: «А на фига?!»

**Я сказал: «А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»**

**Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...»**

**Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...**

Жизнь была — а на фига?!»

**Как сказать ему, подонку,
что живем не чтоб подохнуть,—
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!**

Чудо жить — необъяснимо.

Кто не жил — что спорить с ними?!

Можно бы — да на фига?

VII

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.

И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюк-

зак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искрення. Ты паразитально невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. «Наполеон,— говорю я,— был выдающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес»,— говоришь ты. У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. «Еще не носят»,— смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ерзаешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: «Я получила большое эстетическое удовольствие!»

А раньше я тебя боялась... А о чем ты думаешь?..»

Может, ее называют Оза?

VIII

**Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфелька пара стоит на полу.**

**Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.**

**В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,**

**в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...**

**Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!**

**Выйду ли к пляжу — туфельек пара,
будто купальщица в море пропала.**

**Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..**

**...В мире металла, на черной планете,
сентиментальные туфельки эти,**

**как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!**

• • • • • • • • • • • • • • • •

IX

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?

Предполагая
 подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?

 Взаимопревращенье.
Бессмертье ж — прекращенное движенье,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье — как зверинец меж людей.
В нем стонут Анна, Оза, Беатриче...
И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,
какая грусть — увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя — такая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жуёт бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьется голосок...

От автора и кое-что другое

**Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.**

**Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет ее берез.**

**Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.**

**Не к первому попала мне тетрадь:
ее командировщики листали,**

**острили на полях ее устало
и засыпали, силясь разобрать.**

**Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактивист!»
А снизу красным: «Сам туда катись!»
«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
Ты смотришь в книгу —
видишь фигу».**

**Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментариев без них.**

* * *

**...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.**

**А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь рванул, что посущественней...
А следующей фразой было:**

ТЫ

Х

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане «Берлин». Зеркало там на потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, сияли лысины и прически. Лиц не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая — недозревшая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с прикнопленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали будмажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Министра, может, ждут?», «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изыщные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилками.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то этакого! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускается трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему.

Молитва

Матерь Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —

стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы,
Жизнь заberi и успехи минутные,
паихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!
Видишь — лежу — почернел как кикимора.

Все безысходно...

**Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Матерь Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...**

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка, вниз головой и просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать из его бормотанья:

— Заонежье. Тает теплоход.

Дай мне погрузиться в твое озеро.

До сих пор вся жизнь моя —

Предозье.

Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник. «Тост за новорожденную». Голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За ее новое рождение, и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, паоборотный, со своим

поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаются затылками друг друга, симметричные, как песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении? Что это за потолочно-зеркальная реальность?! Что за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда?

Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребезги, как капли с карниза!

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим, а бутерброд реален! Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.

Слух моментально пронизывает головы, как бусы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Все глядят на бутерброд.

«А нас килькой кормят!» — вопит классик. Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя, кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой. (Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом
проносится по мне. Подошвы! Подошвы!
Почему все ботинки с подковами?
Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам.
Чьи-то каблучки, подобно швейной машинке,
прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все,
Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!

«Так как же зовут новорожденную?» —
надывается тамада.

«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А может, ее называют Оза?

XI

Знаешь, Зоя, теперь — без трепа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твое опустело.
Что-то в нем приостановилось
и с тех пор невозстановимо.

Всяко было — и дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.

**Изменяли друзья злорадно.
Сам себе надоед, зараза.
Только ты не переменялась.**

**А концерт мой прощальный помнишь?
Ты сквозь рев их мне шла на помощь.
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.**

**Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.**

**Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!**

**Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?**

**Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.**

**Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернемся к поэме.**

XII

Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядерный.
Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имярек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.

**Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?**

**Край мой, родина красоты,
край Рублева, Блока, Ленина,
где снега до ошеломления
завораживающе чисты...**

**Выше нет предопределения —
мир
 к спасению
 привести!**

**Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от техсловес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,**

**порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времен:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»**

**Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпугали, как тарантас.
Смертны техники п державы,
проходящие мимо нас.**

**Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла,—
продолжающееся сияние,
называли его душа.**

**Мы растаем и снова станем,
и неважно в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.**

**И от ягод звенит кустарник.
В этом звоне я не умру».**

**И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.**

**Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.**

**Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...**

**Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!**

XIII

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,
придет хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.

XIV

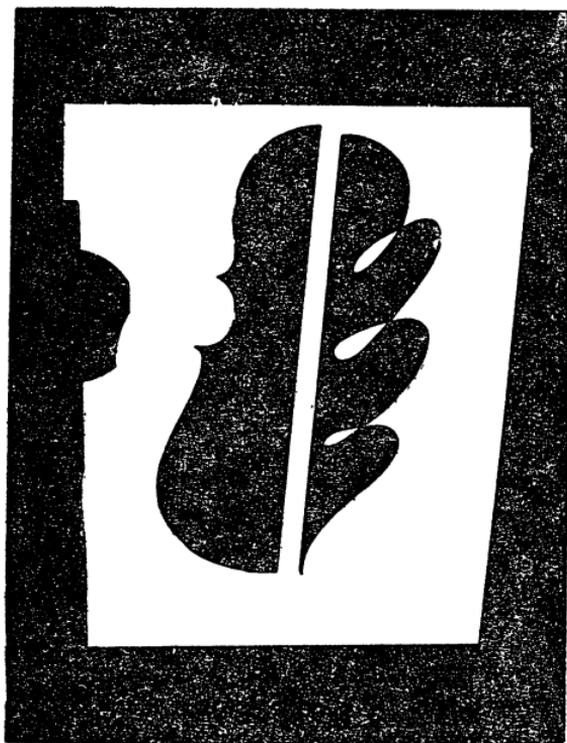
НА КРЫЛЬЦЕ
ОЧИЩАЯ ЛЫЖИ ОТ СНЕГА,
Я ПОДНЯЛ ГОЛОВУ.

ШЕЛ САМОЛЕТ.
И ЗА НИМ

НА НЕИЗМЕННОМ РАССТОЯНИИ
ЛЕТЕЛ ОТСТАВШИЙ ЗВУК,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, КАК ПРИЦЕП
НА БУКСИРЕ.

1964

Треугольная группа



Тишиныны!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни

Тишины...

звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам, там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

1964

Автопортрет

Он тощ, точно сучья. Небрит и мордаст.
Под ним третьи сутки
 трещит мой матрас.
Чугунная тень по стене нависает.
И губы вполхари, дымясь, полыхают.

«Приветик,— хрипит он,— российской поэзии.
Вам дать пистолетик? А может быть, лезвие?
Вы — гений? Так будьте ж циничнее к хаосу...
А может, покаемся?..
Послюним газетку и через минутку
свернем самокритику как самокрутку?..»

Зачем он тебя обнимает при мне?
Зачем он мое примеряет кашне?
И щурит прищур от моих папирос...

Чур меня, чур!

SOS! SOS!

1963

Ночной Аэропорт в Нью-Йорке

Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных
ворот —
Аэропорт!

Брежжат дюралевые витражи,
точно рентгеновский снимок души.

Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!

Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звездные судьбы
грузчиков, шлюх.

В баре, как ангелы, гаснут твои
алкоголики.

ты им глаголишь!
Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибытье»
возвещаешь!

*

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
ослепительно
сядут с небес!

Пять полуночиц шасси выпускают устало.
Где же шестая?

Видно, допрыгалась —
дрянь, аистенок, звезда!..
Электроплитками
пляшут под ней города.

Где она реет,
стонет, дурит?
И сигареткой
в тумане горит?

Она прогноз не понимает.
Ее земля не принимает.

*

Худы прогнозы. И ты в ожидании бури,
как в партизаны, уходишь в свои вестибюли,
мощное око взирает в иные мира.

Мойщики окон

слезят тебя, как мошкара,
звездный десантник, хрустальное чудище,
сладко, досадно быть сыном будущего,
где нет дураков

и вокзалов-тортов —
одни поэты и аэропорты!

Стонет в аквариумном стекле
небо,
приваренное к земле.

*

Аэропорт — озона и солнца
аккредитованное посольство!

Сто поколений
не смели такого коснуться —
преодоленья

несущих конструкций,
Вместо каменных истуканов
стынет стакан синевы —
без стакана.

Рядом с кассами-теремами
Он, точно газ,
антиматериален!
Бруклин — дурак, твердокаменный черт.

Памятник эры —
Аэропорт.

1961

* * *

Э. Межелайтису

Жизнь моя кочевая
стала моей планидой...

Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.

Стонет в сетях капроновых
в облаке пуха, крика
крыльями трехметровыми
узкая журавлиха!

Вспыхивает разгневанной
пленницею, царевной,
чуткою и жемчужной,
дышащею кольчужкой.

К ней подбегут биологи:
«Цаце надеть брелоки!»
Бережно, не калеча,
цап — и вонзят колечко.

Вот она в небе плещется,
послеоперационная,
вольная, то есть пленная,
целая, но кольцованная,

над анкарами, плевнами,
лунатиками в кальсонах —
вольная, то есть пленная,
чистая — окольцованная,

жалуется над безднами
участь ее двойная:
на небесах — земная,
а на земле — небесная,

над пацанами, ратушами,
над циферблатом Цюриха,
если, конечно, раньше
пуля не раскольцует,

как бы ты ни металась,
впилась браслетка змейкой,
привкус того металла
песни твои изменит —

с неразличимой нитью,
будто бы змей ребячий,
будешь кричать над Нидой,
пристальной и рыбачьей.

1963

Антимиры

Живет у нас сосед Букашкин,
в кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
над ним горят

Антимиры!

И в них магический, как демон,
вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимирры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
оазисов — без Каракумов.

Нет женщин —
 есть антимужчины,
в лесах ревут антимашинны.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих,
На шее одного из них,
благоуханна и гола,
сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,
а где-то свищет звездопад,
и небоскребы
 сталактитами
на брюхе глобуса висят.

И подо мной
 вниз головой,
вонзившись вилкой в шар земной,
беспечный, милый мотылек,
живешь ты,
 мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
встречаются антимирры?

Зачем они вдвоем сидят
и в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,
ведь будут мучиться потом!
И уши красные горят,
как будто бабочки сидят...

...Знакомый лектор мне вчера
сказал: «Антимиры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок,
наверно, прав научный хмырь.

Мой кот, как радиоприемник,
зеленым глазом ловит мир.

1961

Монолог битника

Лежу бухой и эпохальный.

Постигаю Мичиган.

Как в губке время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом как берлога,

лежат озябшие зрачки.

Перебираю как брелоки
Прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,

дождями атомными рея,

плевало время на меня,
плюю на время!

Политика? К чему валандаться!

Цивилизация душна.

Вхожу, как в воду с аквалангом,
в тебя, зеленая душа.

Мы — битники. Среди хулы

мы — как звереныши, волчата.

Скандалы точно кандалы
за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,

с опухшим носом скомороха,

вы думали — я шут?

Я — суд!

Я — Страшный суд. Молись, эпоха!

1961

Ночь

Сколько звезд!
Как микробов
в воздухе..

1963

Монолог Мерлин Монро

Я Мерлин, Мерлин.

Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?

Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо

невыносимей!

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама — меня раздавят,

о, кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,

лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой
самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,

самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо все ждать,
чтоб грянуло,
а главное —

необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

1963

Латышский эскиз

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест
три дурака бегут на Запад.
Их кто-то выдает. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идет!» Десять лет.

«Возлюбленный, когда ж вернешься?!
четыре тыщи дней, как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя все нет,

четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
Предела нету для любимой —

ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя —
из тюрем приходят иногда,
из заграницы — никогда...»

...Он бьет ее, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.

О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»

1963

Его спина дымилась
Буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России — ни души.

Художники уходят
Без шапок,
 будто в храм,
В гудящие уголья
К березам и дубам.

Побеги их — победы.
Уход их — как восход
К полянам и планетам
От ложных позолот.

Леса роняют кроны.
Но мощно под землей.
Ворочаются корни
Корявой пятерней.

1960

Сирень «Москва-Варшава»

Р. Гамзатову

41.III.61.

Сирень прощается, сирень — как лыжница,
сирень, как пудель, мне в щеки
лижется!

Сирень заревана,
сирень — царевна,
сирень пылает ацетиленом!
Расул Гамзатов хмур как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезем».

12.III.61.

Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит.
О, как ей боязно!

Под низом
колеса поезда — не чернозем.
Наверно, в мае цвeсть «красивей»...
Двойник мой, магия, сирень, сирень,
сирень как гений!

Из всех одна
на третьей скорости цветет она!
Есть сто косулей —

одна газель.
Есть сто свистулек — одна свирель.
Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней.

Люблю одну.
Ночные грозди гудят махрово,
как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень.
Как сто салютов, стоит сирень.

13.III.61.

Таможник вздрогнул: «Живьем? В кустах?!»
Таможник, ахнув, забыл устав.
Ах, чувство чуда — седьмое чувство...

Вокруг планеты зеленой люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит

трассирующая
сирень!
Смешны ей — почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P. P. S.

Черта с два!

1961

Новогоднее письмо в Варшаву

А. Л.

Когда под утро, точно магний,
бледнеют лица в зеркалах
и туалетною бумагой
прозрачна пудра на щеках,
как эти рожи постарели!

Как хищно на салфетке в ряд,
как будто раки на тарелке,
их руки красные лежат!

Ты бродишь среди этих блюдиц.
Ты лоб свой о фужеры студишь.
Ты шаль срываешь. Ты горюшь.
«В Варшаве душно», — говоришь.

А у меня окно распахнуто
в высотный город словно в сад
и снег антоновкою пахнет
и хлопья в воздухе висят

они не движутся не падают
ждут

не шелхнутся

легки

внимательные

как лампы

или как летом табаки.

Они немножечко качнутся,
когда их ноженькой

коснутся,

одетой в польский сапожок...

Пахнет яблоком снежок.

1961

Бьет женщина

В чем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!

Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,
обуть,
быть умной,
хохотать,—
такая мука — непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока распевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах

ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны,
люди,
лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!

Смотрите,
из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами

и по тебе прислоняюсь,

сползаю

тяжело,
и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964

Париж без рифм

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»

И вдруг —

город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров, висели
комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,

вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской богородицы шла месса,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки почему-то парил
над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж

(на месте грудного кармашка, вертикальная, как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью,
Париж,
в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,

как в вишне косточка,

Париж — горящая вода,

Париж,

как ты наоборотен,

как бел твой Булонский лес,

он юн, как купальщицы,

бежали розовые собаки,

они смущенно обнюхивались,

они могли перелиться одна в другую, как шарики ртути,

и некто, голый, как змея,

промолвил: «Чернобурка я»,

шли люди,

на месте отвинченных черепов,

как птицы в проволочных

клетках,

свистали мысли,

монахиню смущали мохнатые мужские видения,
президент мужского клуба страшился разоблачений
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),

над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,

в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,

наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств

мудрый дух

в соломинку,

как стеклодув,

он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радужные пузыри!

Я тормошу его:

«Мой Сартр,

мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные

летят?

Как страшно все обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
мой Сартр!

Вдруг все обречено?!»

Молчит кузнечник на листке
с безумной мукой на лице.

Было три...

Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме саксофона,
женщина усмехнулась.

«Стриптиз так стриптиз», —

сказала женщина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет, —

кожу! —
как снимают чулки или трикотажные тренировочные
костюмы.

— О! о! —

последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,

на страшном,
орущем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш глянсе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты

в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963

Маяковский в Париже

Уличному художнику

Лили Брик на мосту лежит,
разутюженная машинами.
Под подошвами, под резинами,
как монетка зрачок блестит!

Пешеходы бросают мзду.
И как рана,
Маяковский,
 щемяще ранний,
как игральная карта в рамке,
намалеван на том мосту!

Каково Вам, поэт, с любимой?!
Это надо ж — рвануть судьбой,
чтобы ликом,
 как Хиросимой,
отпечататься в мостовой!

По груди Вашей толпы торопятся,
Сена плещется под спиной.
И, как божья коровка, автобусик
мчит, щекочущий и смешной.

Как волнение Вас охватывает!..
Мост парит,
ночью в поры свои асфальтовые,
как сирень,
 впитавши Париж.

Гений. Мот. Футурист с морковкой.
Льнул к мостам. Был посол Земли...
Никто не пришел
 на Вашу выставку,
 Маяковский

Мы бы — пришли.

Вы бы что-нибудь почитали,
как фатально Вас не хватает!

О, свинцовую пломбочкой ночью
опечатанные уста.
И не флейта Ваш позвоночник —
алюминиевый лёт моста!

Маяковский, Вы схожи с мостом,
Надо временем,
 как гимнаст,
башмаками касаетесь РОСТА,
а ладонями —
 нас.

Ваша площадь мосту подобна,
как машины из-под моста —
Маяковскому под ноги
Маяковская Москва!
Маяковским громит подонков
Маяковская чистота!

Вам шумят стадионов тысячи.
Как Вам думается?
 Как дышится,
Маяковский, товарищ Мост?..

Мост. Париж. Ожидаем звезд.

Притаился закат внизу,
полоснувши по небосводу
красным следом
 от самолета,
точно бритвою по лицу!

1964

Муромский сруб

Деревянный сруб,
деревянный друг,
пальцы свел в кулак
деревянных рук,

как и я, глядит Вселенная во мрак,
подбородок положивши на кулак,

предок, сруб мой, ну о чем твоя печаль
над скамейкою замшелой, как пицаль?

Кто наврал, что я любовь твою продал
по электроэлегантным городам?

Полежим. Поразмышляем. Помолчим.
Плакать — дело, недостойное мужчин.

Сколько раз мои печали отвели
эти пальцы деревянные твои...

1963

Марше О Пюс. Парижская толкучка древностей

1

Продай меня, Марше О Пюс,
упись
этой грустной барахолкой,
смесью блюза с баркаролой,
самоваров, люстр, свечей,
воет зоопарк вещей
по умчавшимся векам —
как слонихи по лесам!..

перстни, красные от ржави,
чьи вы перси отражали?

как скорлупка, сброшен панцирь,
чей картуш?

вещи — отпечатки пальцев,
вещи — отпечатки душ,

черепки лепных мустангов,
храм хламья, Марше О Пюс,
мусор, музыкою ставший!
моя лучшая из муз!

распатавшийся диван,
куда девах своих девал?

почем века в часах песочных?
чья замша стерлась от пощечин?

почем любовь, почем поэзия,
утилитарно-бесполезная?
почем метания и робость?
к чему метафоры для роботов?

продай меня, Марше О Пюс,
архаичным становлюсь:
устарел, как Робот-6,
когда Робот-8 есть.

II

Печаль моя, Марше О Пюс,
как плющ,
вьется плесень по кирасам,
гвоздь сквозь плющ повылезал —
как в скульптурной у Пикассо —
железяк,
железяк!

помню, он в штанах расшитых
вещи связывал в века,
глаз вращался, как подшипник,
у виска,
у виска!

(он — испанец, весь как рана,
к нему раз пришли от Франко,
он сказал: «Портрет? Могу!
пусть пришлет свою башку!»)

я читал ему, подрагивая,
эхо ухаает,

 как хор,
персонажи из подрамников
вылазят в коридор,

век пещерный, век атомный,
душ разрезы анатомные,
вертикальны и косы,
как песочные часы,

снег заносит апельсины,
пляж, фигурки на горах,
мы — песчинки,

 мы печальны, как песчинки,
в этих дьявольских часах...

III

Марше О Пюс, Марше О Пюс,
никого не дозовусь.
пустынны вещи и страшны,

 как после атомной войны.

я вещь твоя, XX век,
пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,
архангел

из болтов и гаек
мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,

тогда, О Пюс, к себе пусти меня,
приткнусь немодным пиджачком...

Я архаичен,
как в пустыне
раскопанный ракетодром!

1963

Рублевское шоссе

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулем — влюбленные —
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвется от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Капу ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1962

Охота на зайца

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хроме лица,
зять Бугашкина с пацаном —

Газанем!

Газик, чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
ослепленная и зловещая,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоят о человечине...

Он лежал посреди страны,
он лежал, трепыхаясь слева,
словно серое сердце леса,
тишины.

Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока еще,
как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,
он возник,
и над лесом, над черной речкой
резапул
человечий
крик!

*Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук*

или как крик ребенка.

Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!

Это была нога жизни. Так кричат роженицы.

*Так кричат перелески голые
и немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.*

*Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.*

*Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.*

*Это длилось мгновение,
мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.
Четыре черные дробины, не долетев, вонзились
в воздух.*

*Он взглянул на нас. И — или это нам показалось —
над горизонтальными мышцами бегуна, над запекши-
мися шерстинками шеи блеснуло лицо. Глаза были
раскосы и широко расставлены, как на фресках
Дионисия.*

Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.

Как бы слился с криком.

Он повис...
С искаженным и светлым ликом,
как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
наши лица неслись во мрак.

1963

Подпись



Авиавступление

*Посвящается слушателям
школы Ленина
в Лонжюмо*

Вступаю в поэму, как в новую пору вступают.

Работают поршни,

соседи в ремнях засыпают.

Ночной папироской

летят телецентры

за Муром.

Есть много вопросов.

Давай с тобой, Время,

покурим.

Прикинем итоги.
Светло и прощально
горящие годы,
как крылья, летят за плечами.

И мы понимаем, что канули наши кануны,
что мы, да и спутницы наши, —
не юны,
что нас провожают
и машут лукаво
кто маминым шарфом, а кто —
кулаками...

Земля,
ты нас взглядом апрельским проводишь,
лежишь на спине, по-ночному безмолвная.
По гаснущим рельсам
бежит
паровозик,
как будто
сдвигают
застежку
на «молнии».

Россия, любимая,
с этим не шутят.
Все боли твои — меня болью пронзили.
Россия,
я — твой капиллярный
сосудик,
мне больно когда —
тебе больно, Россия.

А еще почему-то — верфью,
а еще почему-то — ветром,
а еще — почему не знаю —
диалектикою познания!

Обнаруживайте древесину
под покровом багровой мглы.
Как лучи из-под тучи синей,
бьют

опилки
из-под пилы!

Добирайтесь в вещах до сути.
Пусть ворочается сосна,
словно глиняные сосуды,
солнцем полные до полна.

Пусть корою сосна дремуча,
сердцевина ее светла —
вы терзайте ее и мучайте,
чтобы музыкою была!

Чтобы стала поющей силищей
корабельщиков, скрипачей...

Ленин был
из породы распиливающих,
обнажающих суть
вещей.

II

Врут, что Ленин был в эмиграции.
(Кто вне родины — эмигрант.)
Всю Россию,
 речную, горячую,
он носил в себе, как талант!

Настоящие эмигранты
 пили в Питере под охраной,
 воровали казну галантно,
 жрали устрицы и гранаты—
 эмигранты!

Эмигрировали в клозеты
 с инкрустированными розетками,
 отгораживались газетами
 от осенней страны раздетой,
в куртизанок с цветными гривами —
эмигрировали!

В драндулете, как чертик в колбе,
изолированный, недобрый,
среди великодержавных харь,
среди ряс и охотнорядцев,
под разученные овации
 проезжал глава эмиграции —

Царь!

Эмигранты селились в Зимнем.
А России
 сердце само —
билось в городе с дальним именем
Лонжюмо.

III

Этот — в гольф. Тот повержен бриджем.
Царь просаживал в «дурачки»...
...Под распарившимся Парижем
Ленин

режется
в городки!

Раз! — распахнута рубашка,
раз! — прищурился глаз,
раз! — и чурки вверх тормашками
(жалко, что не видит Саша!) —

Рраз!
Рас-печатывались «письма»,
раз-летясь до облаков,—
только вздрагивали бисмарки
от подобных городков!

Раз! — по тюрьмам, по двуглавым —
ого-го! —
Революция играла
озорно и широко!

Раз! — врезалась бита белая,
как аворовский фугас —
так что вдребезги империи,
церкви, будущие бери —

Раз!

Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов»! Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!

Раз!..

...а где-то в начале века
человек, сощуривши веки,
«Не играл давно» — говорит.
И лицо у него горит.

IV

В этой кухоньке скромны тумбочки,
и, как крылышки у стрекоз,
брезжит воздух над узкой улочкой
Мари-Роз,

было утро, теперь смеркается,
и совсем из других миров
слышен колокол доминиканский,
Мари-Роз,

прислоняюсь к прохладной раме,
будто голову мне нажгло,
жизнь вечернюю озираю
через лепточное стекло,

и мне мнится — он где-то спереди,
меж торговых, машин, корзин,
на прозрачном велосипеде
проскользил,

или в том кабачке хохочет,
аплодируя шансонье?
или вспомнил в метро грохочущем
ослепительный свист саней?

или, может, жару и жаворонка?
или в лифте сквозном парит,
и под башней ажурно-ржавой
запрокидывается Париж —

крыши сизые галькой брезжат,
точно в воду погружены,
как у крабов на побережье,
у соборов горят клешни,

над серебряной панорамою
он склонялся, как часовщик,
над закатами, над рекламами,
он читал превращения их,

он любил вас, фасады стылые,
точно ракушки в грустном стиле,
а еще он любил Бастилию —
за то, что ее срыли!

И сквозь биржи пожар валютный,
баррикадами взвив кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное

лицо,

и глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
все в скворечниках и маевках,

а за ними — фронты, юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет фуражкой студенческой
мой отец на кронштадтском льду.

**Папа, это ведь не смертельно?
Папа, как ты в годах глухих?
Мы родились от тех метелей.
Умираем теперь от них.**

**...Он отсюда
мыслил
ракетно.
Мысль его, описав дугу,
разворачивала
парапеты
возле Зимнего на снегу!**

**(Но об этом шла речь в строках
главки 3-й, о городках.)**

v

**В доме позднего рококо
спит, уткнувшись щекой в конспекты,
спит, живой еще, невоспетый
Серго,**

**спи, Серго, еще раным-рано,
зайчик солнечный через раму
шевелится в усах легко,
спи, Серго,**

**спи, Серго в васильковой рубашечке,
ты чему во сне улыбаешься?
Где-то Куйбышев и Менжинский
так же детски глаза смежили.**

Его скульптор лепил.
Вернее,
умолял попозировать он,
перед этим, сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,

бормотал он оцепенело:
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»

Поэтично кроить вселенную!
И за то, что он был поэт,
как когда-то в Пушкина —
в Ленина
бил отравленный пистолет!

VII

Однажды, став зрелей, из спешной повседневности
мы входим в Мавзолей,
как в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы — каких Вы ждали, Ленин?!
Скажите, Ленин, где
победы и пробелы?
Скажите — в суете мы суть не проглядели?..»

**Нам часто тяжело. Но солнечно и страстно
прозрачное чело горит лампообразно.**

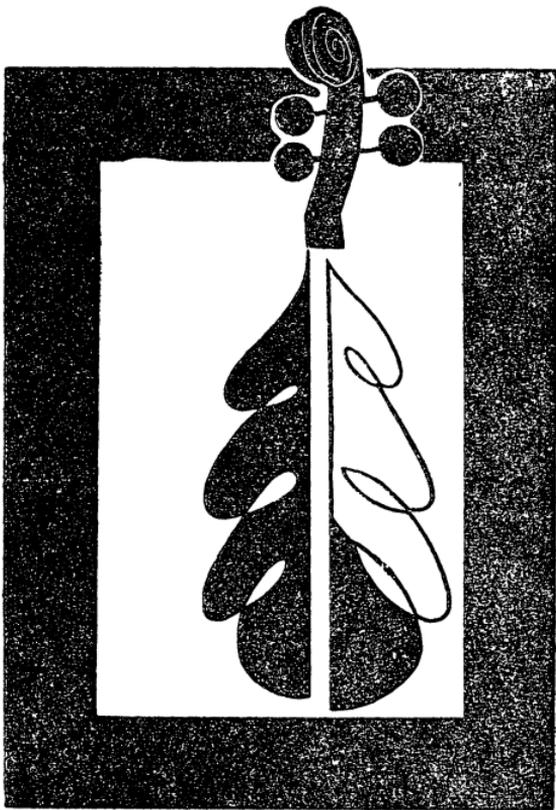
**«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин**

отвечает.

На все вопросы отвечает Ленин.

1962—1963

Theresa



Осень в Сигулде

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
 так уж положено,
из стен,
 матерей
 и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я уйду из вас.

о родина, попросаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка.
Спасибо жизнь, что была.

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
входило прозрение, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басыла
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?

ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

Лобная Баллада

Их величеством поразвlechся
прет народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница —
 контрразведчица,
 англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфортов,
он берет ее

над толпою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:
«А-а-анхен!..»
Отвечает ему она:

«Мальчик мой государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солонны?»

баба я
вот и вся провинность
государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой ли любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!..»

Царь застыл — смурной, малохольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

1961

* * *

Я сослан в себя
я — Михайловское
горят мои сосны смыкаются

в лице моем мутном как зеркало
смеркаются лоси и пергалы

природа в реке и во мне
и где-то еще — извне

три красные солнца горят
три роци как стекла дрожат

три женщины брезжут в одной
как матрешки — одна в другой

одна меня любит смеется
другая в ней птицей бьется

а третья — та в уголок
забилась как уголек

она меня не простит
она еще отомстит

мне светит ее лицо
как со дна колодца —

КОЛЬЦО

1961

Бьют женщину

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоза.
И волочили и лупили
лицом по снегу и крапиве...

Подовок, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрещины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий — нет,
знамений — нет
Есть
Женщина!..

...Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда

**и звезды по небу стучали
как дождь о черное стекло
и скатываясь
остужали
ее горячее чело**

1960

Гитара

Б. Окуджаве

К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал

а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носилаь по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко

к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка

1960

Сибирские бани

Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару —
Ну и ну!
Слабовато Ренуару
до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,
эти спины наповал,
будто доменной печью
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
здесь на ты, на ты, на ты
чистота огня и снега
с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня,—
в полушубках, кровь с огнем,
как их шуткой
шуганем!

Ой, испугу!
Ой, в избушку,
как из пушки, во весь дух:
— Ух!..

А одна в дверях задержится,
за приступочку подержится
и в соседа со смешком
кинет
кругленьким снежком!

1959

На плотах

Нас несет Енисей.

Как плоты над огромной
и черной водой,

Я — ничей!

Я — не твой, я — не твой, я не твой!

Ненавижу провал

твоих губ, твои волосы,
платье, жильё.

Я плевал

на святое и лживое имя твое!

Ненавижу за ложь
телеграмм и открыток твоих,
ненавижу твой шелк,
проливные нейлоны гардин,
мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня,
телефон-автоматной Москвы,
я страшон, как икона,
почернел и опух от мошки.

Блещет, точно сазан,
голубая щека рыбака,

«Нет» — слезам.

«Да» — мужским, продубленным рукам.

«Да» — девочатам разбойным,
купающим МАЗ, как коня,

«Да» — брандспойтам,
сбивающим горе с меня.

1959

Тайгой

Твои зубы смелы
в них усмешка ножа

и гудят как шмели
золотые глаза!

мы бредем от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе — скиты

бродят пчелы мохнатые
нагибая цветы

я не знаю — тайги
я не знаю — семьи
знаю только зрачки
знаю — зубы твои

на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок!

в каждой капельке-мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху погами

ты — живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли — тайге.

1959

Вечер на стройке

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,
Пропахнувшие формалином
И фимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
Но нет жемчужного зерна.

Искусство мертвенно без искры,
Не столько божьей, как людской,—
Чтоб слушали бульдозеристы
Непроходимую тайгой.
Им приходилось зло и солоно,
Но чтоб стояли, как сейчас,

Они — небритые, как солнце,
И точно сосны — шелушась.
И чтобы девочка-чувашка,
Смахнувши синюю слезу,
Смахнувши — чисто и чумазо,
Смахнувши — точно стрекозу,
В ладоши хлопала раскатисто..

Мне ради этого легки
Любых ругателей рогатины
И яростные ярлыки.

1959

Елена Сергеевна

Борька — Любку, Чубук — двух Мил,
А он учителку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...
(Ленка по уши влюблена!)

Елена Сергеевна входит в класс.
(«Милый!» — Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведет урок.
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая,
точно в церкви или в кино,
мы взирали, как над пеналами
шло

тайнственное

о н о...

И стоит она возле окон —
чернокобая, синеокая,
закусивши свой красный рот,
белый табель его берет!

Что им делать, таким двоим?
Мы не ведаем, что творим.
Педсоветы сидят:

«Учтите,
Вы советский, никак, учитель!

На Смоленской вас вместе видели...»
Как возмездье, грядут родители.

Лепка-хищница, Ленка-мразь,
Ты ребенка втоптала в грязь!

«О спасибо моя учительница
за твою высоту лучистую
как сквозь первый ночной снежок
я затверживал твой урок
и сейчас как звон вырубалочки
из жемчужных уплывших стран
окликает меня англичаночка —
«проспичь алгебру

мальчуган...»

Ленка, милая, Ленка — где?
Ленка где-то в Алма-Ате.
Ленку сшибли, как птицу влет...

.

Мотогонки по вертикальной стене

Н. Андросовой

Завораживая, манежа,
свищет женщина по манежу!
Краги — красные, как клешни.
Губы крашеные — грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щеки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
электрической пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
вертикальны, как «ваньки-встаньки».

В этой, взвившейся над зонтами,
меж оваций, афиш, обид,
сущность женщины
горизонтальная
мне мерещится и летит!

Ах, как кружит ее орбита!
Ах, как слезы к белкам прибиты!
И тиранит ее Чингисхан —
Замдиректора Сингичанц..

Сингичанц: «Ну, а с ней не мука?
Тоже трюк — по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги..
Пойду напишу
по инстанции...
и царапается, как конокрадка».

Я к ней вламываюсь в антракте.
«Научи, говорю, горизонту...»

А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А ее еще трек качает.
А глаза полны такой —
горизонтальнойю

тоской!

Баллада точки

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!»
Балда!
Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
В пробитые головы лучших поэтов.

Стрелой пронзив самодурство и свинство,
К потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было — начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна...
В бессмертье она?
Иль в безвестность она?..

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой —
Вторая проекция той же прямой.
В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны.

И это — точно!

1959

* * *

Вас за плечи держали
ручищи эполетов.
Вы рвались и дерзали,
гусары и поэты!

И уносились ментики
меж склонов-черепах,
и полковые медики
копались в черепах.

Но снова мертвой петлею
несутся до рассвета
такие же отпетые
шоферы и поэты!

**Их фaры по спирали
уходят в небосвод.
Вы совесть потеряли.
Куда нас занесет?**

1958

Торгуют арбузами

Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
От возбужденных продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны
Милиционерские околыши
И мотороллер у стены.

**И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот —
земля**

мотается

**в авоське
меридианов и широт!**

1956

Первый лед

Мерзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальцецо
все в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз.

1959

да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей,

большие, изумленные
глядят с земли,
над ними — мгла зеленая,
смола,
шмели,

в шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат,
о них забыли,
и спят
и спят.

1959

Осень

С. Щипачеву

**Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
Последних паутинок блеск,
Последних спиц велосипедных.**

**И ты примеру их последуй,
Стучись проститься в дом последний,
В том доме женщина живет
И мужа к ужину не ждет.**

Она откинет мне щеколду,
К тужурке припадет щекою,

Она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
Поймет осенний зов полей.
Полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
Она подумает о том,
Что яблонька и та — с плодами,
Буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
В полях, домах, в лесах продутых,
Им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
И на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
Я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
Лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
До железнодорожной линии
Сужаясь, тянутся следы.

Последняя электричка

Мальчики с финками, девочки с фиксами,
Две проводницы дремотными сфинксами...

Я еду в темном тамбуре,
спасаясь от жары,
кругом гудят как в таборе
гитары и воры.

И как-то получилось,
что я читал стихи
между теней плечистых,
окурков, шелухи.

У них свои ремесла.
А я читаю им,
как девочка примерзла
к окошкам ледяным.

На черта им девчонка
и рифм ассортимент?
Таким, как эта — с челкой
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь — черты спитые,
на блузке видит взгляд
всю дактилоскопию
малаховских ребят...

Чего ж ты плачешь бурно
и, вся от слез светла,
мне шепчешь нецензурно
чистейшие слова?

И вдруг из электрички,
ошеломив вагон,
ты чище Беатриче
сбегаешь на перрон!

1959

* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменялась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платице,
И плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют
И губы, падая, дают,

И выбегают за шлагбаумы,
И от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
Глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
Хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
Остолбенов до немоты,

Стоят, как каменные, бабы,
Луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
В ночном быту необжитом —

Как понимает их планета
Своим огромным животом.

1959

Тбилисские базары

...носы на солнце лупятся,
как живопись на фресках.

Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны форели,
Цветастая грубость!

Здесь праздники в будни.
Арбы и арбузы.
Торговки — как бубны,
В браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!

Да здравствуют бабы,
Торговки салатом,
Под стать баобабам
В четыре обхвата!

Базары — пожары.
Здесь огненно, молодо
Пылают загаром
Не руки, а золото,

В них отблески масел
И вин золотых.

Да здравствует мастер,
Что выпишет их!

1959

Длиноного

Это было на взморье синем —
в Териоках ли? в Ориноко? —
она юное имя носила —
Длиноного!

Выходила — походка легкая,
а погодка такая летная!
От земли,
 как в стволах соки,
по ногам
 подымаются
 токи,

ноги праздничные гудят —
танцевать,
танцевать хотят!

Ноги! Дьяволы эlegantные,
извели тебя хулиганствами!
Ты заснешь — ноги пляшут, пляшут,
как сорвавшаяся упряжка.

Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.
Побледневшая, сокрушенная,
вместо водки даешь крюшоны —
под прилавком сто дьяволят
танцевать,
танцевать хотят!

«Танцы-шманцы?! — сопит завмаг. —
Ах, у женщины ум в ногах».
Но не слушает Длинного
философского монолога.

Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!
Ну, а ноги несут сами —
к басанове несут,
к самбе!

Ноги, ноги, такие умные!
Ну, а ночи, такие лунные!
Длинного, побойся бога,
сумасшедшая Длинного!

А потом она вздрогнет: «Хватит».
Как коня, колени обхватит
и качается, обхватив,
под насвистывающий мотив...

Что с тобой, моя Длинного?..
Ты — далеко.

1960

Противостояние очей

Третий месяц ее хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голоса,
вечерами
 разражаются
 Глаза!

Пол-лица ошеломленное стекло
вертикальными озерами зажгло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь,
 как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажег и поселился на постой...»

Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк.
Говоришь — они к аварии манят.
Вместо слез —
иллюминированный взгляд.

«Симулирует», — соседи говорят.
Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие

касается
людей
это Противостояние Очей!..

...Возле моря отрешенно и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил,

1961

Флорентийские факелы

З. Богуславской

Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкий,
свои палаццо и туманы.

Я знаю их. Я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске,
спит Баптистерий, как развитие
моих проектов вырезвителя,

Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади,
ты — калька с юности, Флоренция!
брожу по прошлому!

Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.

А факелы над черным Арно
необъяснимы —
как будто в огненных подфарниках
несутся в прошлое машины!

Ау! — зовут мои обеты,
Ау! — забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
Ау! — сбегаются палаццо, —
авансы юности опасны! —
попался?!

И между ними мальчик странный,
еще не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с дратвой —
здравствуй!

Он говорит: «Вас не поймаеть!»
Преуспевающий пай-мальчик,
Вас заграницы издают.
Вас продавщицы узнают.

Но почему вы чуть не плакали?

И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?..»

Я занят. Я его прерву.
Осточертели интервью,

Сажусь в машину. Дверцы мокры,
Флоренция летит назад.
И как червонные семерки
палаццо в факелах горят,

1962

Мастерские на Трубной

Дом на Трубной.
В нем дипломники басят.
Окна бубной
жгут заснеженный фасад.
Дому трудно.

Раньше он соцреализма не видал
в безыдейном заведении у мадам.

В нем мы чертим клубы, домны,
но, бывало,
стены фрескою огромной
сотрясало,

шла империя вприпляс
под венгерку,
«Фей» реяли меж нас
фейерверком!
Мы небриты как шинель.
Мы шалели,
отбиваясь от мамзель,
от шанели,
но упорны и умны,
сжавши зубы,
проектировали мы
домны, клубы...
Ах, куда вспорхнем с твоих
авиаматок,
Дом на Трубной, наш Парнас,
альма матер?

Я взираю, онемев,
на лекало —
мне районный монумент
кажет
ноженьку
лукаво!

1958

Пожар в Архитектурном институте

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно,
гориллой
краснозадою
взвивается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылю керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иголочка от циркуля
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.

Милиции полно.

Все — кончено!

Все — начато!

Айда в кино!

1958

Параболическая баллада

Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке и реже — по радуге.

Жил огненно-рыжий художник Гоген,
Богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
из Монмартра,

Он

дал

кругаля через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,
Кудахтанье жен, духоту академий.
Он преодолел

тяготенья земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче,
Не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревушей
Сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
Параболой

гневно

пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
Червяк — через щель, человек — по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!

И черт меня нес

Меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
Упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу,

приземляясь по ним —

Земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
Несутся искусство,

любовь

и история —

По параболической траектории!

В сибирской весне утопают калоши

» . . . ,
А может быть, все же прямая — короче?

1959

В магазине

Д. Н. Журавлеву

**Немых обсчитали.
Немые вопили.
Медяшек медали
влипали в опилки.**

**И гневным протестом,
что все это сказки,
кассирша, как тесто,
вздымалась от кассы.**

И сразу по залам,
сыркам, патиссонам,
пахнуло слезами,
как будто озоном.

О, слез этих запах
в мычащей ораве.
Два были без шапок.
Их руки орали.

А третий с беконом
подобием мата
ревел, как Бетховец,
земно и лохмато!

В стекло барабаня,
ладони ломая,
орала судьба моя
глухопемая!

Кассирша, ослабься,
косилась на солнце
и ленинский абрис
искала
в полсотне.

Но не было Ленина.
Она была
фальшью...
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

1959

Потерянная Баллада

I

В час осенний,
сквозь лес опавший,
осеяюще и опасно
в нас влетают, как семена,
чьи-то судьбы и имена.

Это Переселенье Душ.
В нас вторгаются чьи-то тени,
как в кадушках растут растения...

В нервной клинике 300 душ.

Бывший зодчий вопит: «Я — Гойя».
Его шваброй на койку гонят.

А в ту вселился райсобес —
всем раздаст и ходит без...

А пацанка сидит в углу.
Что таит в себе — ни гугу.
У ней — зрочки киноактрисы
косят,
 как кисточки у рыси...

II

Той актрисе все опостылело,
как пустынна ее Потылиха!
Подойдет, улыбнуться силясь:
«Я в кого-то переселилась!

Разбежалась, как с бус стеклярус,
Потерялась я, потерялась!..»

Она ходит, сопоставляет.
Нас, как стулья, переставляет.
И уставится из угла,
как пустынный костел гулка.

Машинально она — жена.
Машинально она — жива.
Машинальны вокруг бутылки,
и ухмылки скользят обмылками.
Как украли ее лабазно!..

А ночами за лыжной базой
три костра она разожжет
и на снег крестом упадет

потрясенно и беспощадно
как посадочная площадка

пахнет жаром смолой лыжной
ждет лежит да снежок лизнет
самолет ушел — не догонишь

Ненайденый мой, ненайденый!
Потерять себя — не пустяк,
вся бежишь, как вода в горстях...

III

А вчера, столкнувшись в гостях,
я увижу, что ты — не ты,
сквозь проснувшиеся черты —
тревожно и радостно,
как птица, в лице твоём, как залетевшая
в фортку птица,
бьет пропавшая красота...

Гойя

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле пагос.

Я — Горе.

Я — голос
войны, городов головши
на снегу сорок первого года,

Я — голод.

Я горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
было над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
как гвозди.

Я — Гойя.

1959

Надпись на «Избранном»

*Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисуль.*

*Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.*

*Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?»
наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!*

*В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.*

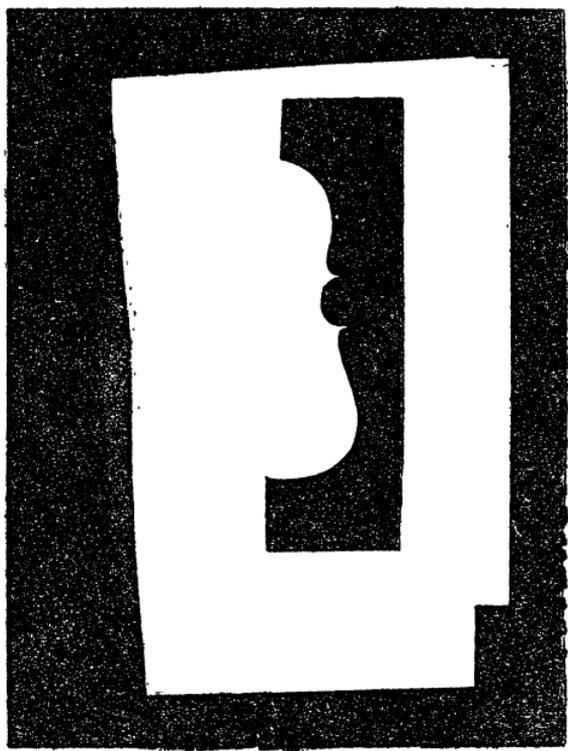
*Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю.*

*Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю.*

Не отрекись.

1975

Масбера



Первое посвящение

**Колокола, гудошники...
Звон, Звон...**

**Вам,
художники
всех времен!**

**Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молнией заживо
испечелял талант.**

**Ваш молот не колонны
и статуи тесал —
сбивал со лбов короны
и троны сотрясал.**

**Художник первородный —
всегда трибун.
В нем дух переворота
и вечно — бунт.**

**Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
плясали на костях.**

**Искусство воскресало
из казней и из пыток
и било, как кресало,
о камни Моабитов.**

**Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И музу, точно Зою,
вели на эшафот.**

**Но нет противоядия
ее святым словам —
воители,
 ваятели,
слава вам!**

Второе посвящение

**Москва бурлит, как варево,
под колокольный звон...**

**Вам,
варвары
всех времен!**

**Цари, тираны,
в тиарах яйцевидных,
в пожарищах-сутанах
и с жерлами цилиндров!**

**Империи и кассы
страхуя от огня,
вы видели в Пегасе
троянского коня.**

**Ваш враг — резец и кельма.
И выжженные очи,
как
клейма,
горели среди ночи.**

**Вас мое слово судит.
Да будет — срам,
да
будет
проклятье вам!**

I

**Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
человека мотало!**

**Хвор царь, хром царь,
а у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мошна,
да рука мощна!**

**Он деревни мутит.
Он царевне свистит.**

**И ударил жезлом
и велел государь,
чтоб на площади главной
из цветных терракот
храм стоял семиглавый —
семиглавый дракон.**

**Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.**

II

**Их было смелых — семеро,
их было сильных — семеро,
наверно, с моря синего
или откуда с севера,**

**где Ладога, луга,
где радуга-дуга.**

**Они ложили кладку
вдоль белых берегов,
чтоб взвились, точно радуга,
семь разных городов.**

**Как флаги корабельные,
как песни коробейные.**

**Один — червонный, башенный,
разбойный, бесшабашный.
Другой — чтобы, как девица,
был белогруд, высок.
А третий — точно деревце,
зеленый городок!**

**Узорные, кирпичные,
цветите по холмам...
Их привели опричники,
чтобы построить храм.**

III

**Кудри — стружки,
руки — на рубанки.
Яростные, русские,
красные рубахи.**

**Очи — ой, отчаянны!
При подобной силе —
как бы вы нечаянно
царство не спалили!..**

**Бросьте, дети бисовы,
кельмы и резцы.
Не мечите бисером
изразцы.**

IV

**Не памяти юродивой
вы возводили храм,
а богу плодородия,
его земным дарам.**

**Здесь купола — кокосы,
и тыквы — купола.
И бирюза кокошников
окошки оплела.**

**Сквозь кожуру мишурную
глядело с завитков,
что чудилось Мичурину
шестнадцатых веков.**

**Диковины кочанные,
их буйные листья,
кочевников колчаны
и кочетов хвосты.**

**И башенки буравами
взвивались по бокам,
и купола булавами
грозили облакам!**

**И москвичи молились
столь дерзкому труду —
арбузу и маису
в чудовищном саду.**

V

Взглянув на главы-шлемы,
боярин рек:
— У, шельмы,
в бараний рог!
Сплошные перламутры —
сойдешь с ума.
Уж больно баламутны
их сурик и сурьма...

Купец галантный,
куль голландский,
шипел: — Ишь надругательство,
хула и украшательство.

Нашел уж царь работничков —
смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
а кистени.
Семь городов, антихристы,
задумали они.
Им наша жизнь — кабальная,
им Русь — не мать!

...А младший у кабатчика
все похвалялся, тать,
как в ночь перед заутреней,
охальник и бахвал,
царевне
целомудренной
он груди целовал...

И дьяки присные,
как крысы по углам,
в ладони прыснули:
— Не храм, а срам!..

...А храм пылал в полнеба,
как лозунг к мятежам,
как пламя гнева —
крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
в сундук купчина прятался.
А немец, как козел,
скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол,
храм антихристовый!..

**А мужик стоял да подвистывал,
все посвистывал, да поглядывал,
да топор
рукой все поглаживал...**

VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей, гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях...
Купола горят глазуньями на распахнутых снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной Руси —
эх, еси —
только ноги уноси!

**Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов.
Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов.
Го-ро-дов?
Может, лучше — для гробов?..**

VII

**Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?
Поэмы — нет.**

**Была в семь глав она —
как храм в семь глав.
А нынче безгласна —
как лик без глаз.**

**Она у плахи.
Стоит в ночи.**

.
**И руки о рубахи
отерли палачи.**

Реквием

Вам сваи не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солицу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,
и кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.

**И завтра ночью тряскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!..**

**...А вслед мне из ночи
окон и бойниц
установились очи
безглазых глазниц.**

1958

Содержание

Путь к этой книге	3
-----------------------------	---

Выпусти птицу

Сначала!	15
Бобровый плач	17
Вечер в «Обществе слепых»	20
Васильки Шагала	23
Песня сингапурского шута	26
Петрарка	28
Зима	29
На озере	30
Муравей	32

Песня вечерняя	34
Похороны Гоголя Николая Васильича	35
Сон	39
Старая фотография	40
«Мама, кто там вверху, голенастьный...»	41
«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...»	42
Художник и модель	44
Скука	45
Новогоднее платье	47
«Ты поставила лучшие годы...»	49
«Теряю свою независимость...»	50
В непогоду	52
Порнография духа	54
Художники обедают в парижском ресторане «Кус-кус»	56
«Для души, северянки покорной...»	65
Аисты	66
Говорит мама	68
Отчего...	69
Повесть	70
«На суде, в раю или в аду...»	71
Отцу	72
Время на ремонте	74
Разговор с эпитафией	78
«В человеческом организме...»	81
Очищение	82
Лесник играет	84
Летающий мужик	86
Похороны Кирсанова	90
Украли!	92
Обстановка	95
Диалог обывателя и поэта о НТР	99
Пасата	102

«Наш берег песчаный и плоский...»	104
Выпусти птицу!	105
«Стихи не пишутся — случаются...»	108
Дама трюф	109

Ск^ры^ты^мы^м

Исповедь	141
Соловей-зимовщик	143
Песня акына	146
Ск ^р ы ^т ы ^м ы ^м	148
Фиалки	150
Собакалипсис	153
Водная лыжница	156
Молитва	158
Женщина в августе	160
Две песни	161
Хозяйки	164
Автомат	166
Правила поведения за столом	168
Кабанья охота	170
«Мы нарушили Божий завет...»	176
Старофранцузская баллада	178
Горный монастырь	180
«Да здравствуют прогулки в полвторого...»	182
«На спинку божия коровка...»	183
Ода дубу	184
Кромка	187
«Я двоюродная жена...»	188
Жестокий романс	190
Скупщик краденого	192
«Сложи атлас, школярка шалая...»	197

Вечные мальчишки	199
Донор дыхания	201
Ванька-авангардист	203
«Висит метла — как танцплощадка...»	208
Реквием оптимистический	209
«Признаю искусство...»	212
Строки	214
Заповедь	217

«Авось!»	219
--------------------	-----

Стрела в стене

Роца	251
Стрела в стене	253
Тоска	255
Не пишется	257
Ялтинская криминалистическая лаборатория	260
Диалог Джерри, Сан-Францисского поэта	262
«Суздальская богоматерь...»	266
«Нам, как аппендицит...»	267
Старая песня	270
«Слоняюсь под Новосибирском...»	272
Уже подснежники	275
Общий пляж № 2	278
Рождественские пляжи	281
Бой петухов	283
Морозный ипподром	285
«Графоманы Москвы...»	289
«В воротничке я — как рассыльный...»	290
Испытание болотохода	292

«Напоили...»	296
Вальс при свечах	298
Лодка на берегу	300
«Сколько свинцового яда влито...»	302
Языки	303
Морская песенка	306
Забастовка стриптиза	308
Сан-Франциско — Коломенское...	311
Осеннее вступление	313
Лед-69	317

Прощание

Плач по двум нерожденным поэмам	337
Монолог актера	341
«Мы — кочевые...»	343
Замерли	345
«Благословенна лень, томительнейший плен...»	347
«Матери сиротеют...»	349
Баллада-яблоня	350
Из закарпатского дневника	353
Зов озера	356
Песенка трагести из спектакля «Антимиры»	359
Лейтенант Загорин	360
Баллада-диссертация	363
Сообщающийся эскиз	366
Футбольное	370
Римские праздники	372
«Нас много. Нас может быть четверо...»	375
Прощание с Политехническим	377

Оза	381
----------------------	-----

Треугольная груша

Тишины!	423
Автопортрет	425
Ночной аэропорт в Нью-Йорке	427
«Жизнь моя кочевая...»	430
Антимиры	433
Монолог битника	436
Ночь	438
Монолог Мерлин Монро	439
Латышский эскиз	443
Кроны и корни	445
Сирень «Москва-Варшава»	447
Новогоднее письмо в Варшаву	450
Бьет женщина	452
Париж без рифм	455
Маяковский в Париже	460
Муромский сруб	463
Марше О Пюс. Парижская толкучка древностей	465
Рублевское шоссе	469
Охота на зайца	471

Лонжюмо	475
--------------------------	-----

Парабола

Осень в Сигулде	491
Лобная баллада	495
«Я сослан в себя...»	498

Бьют женщину	500
Гитара	503
Сибирские бани	505
На плотях , ,	507
Тайгой , ,	509
Вечер на стройке . ,	511
Елена Сергеевна . , ,	513
Мотогонки по вертикальной стене	515
Баллада точки	517
«Вас за плечи держали...»	519
Торгуют арбузами	521
Первый лед	523
«Лежат велосипеды...»	525
Осень	527
Последняя электричка . ,	529
«Сидишь беременная, бледная...»	531
Тбилисские базары . ,	533
Длиноного	535
Противостояние очей	538
Флорентийские факелы	540
Мастерские на Трубной	543
Пожар в Архитектурном институте	545
Параболическая баллада	548
В магазине	551
Потерянная баллада	553
Гойя	557
Надпись на «Избранном»	559
Мастера	561

Вознесенский А.

В64 Дубовый лист виолончельный. Избранные стихотворения и поэмы. Оформл. худ. Вл. Медведева. М., «Худож. лит.», 1975

604 с.

В книге Андрея Вознесенского «Дубовый лист виолончельный» представлены избранные стихотворения разных лет из вошедших в предыдущие девять сборников поэта и его шесть поэм: «Мастера», «Лонжюмо», «Лед-69», «Оза», «Авось!», «Дама трэф».

Стихи Вознесенского отличает самобытность поэтического рисунка, своеобразие интонации, яркая, необычная образность. Поэт обращается в них к самым различным сторонам современной действительности.

Зарубежные дневники и зарисовки, психологические пейзажи, стихи о любви, аналитические разрезы современности — все это объединено в книге музыкальной нотой полета осеннего листа, темой Времени и России.

В $\frac{70402-324}{028(01)-75}$ БЗ-22-33-75

Р 2

**Андрей Андреевич
Вознесенский**

ДУВОВЫЙ ЛИСТ ВЬОЛОНЧЕЛЬНЫЙ

Редактор Э. Кондратьева. Художественный редактор Ю. Боярский. Технический редактор В. Иващенко. Корректор Т. Кузина.
Сдано в набор 8/1 1975 г. Подписано в печать А02311 от 25/VII 1975 г. Бум. типогр. № 1. Формат 70×108¹/₃₂. 18,5 печ. л. 25,9 усл. печ. л. 14,282 уч.-изд. л. Заказ 1785. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 69 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Минск, Красная, 23.

